



Дизайн автора

СВЕТ НА СЦЕНУ

Долго видел эти сны. И что удивительно — сам он, старик Перетряхин, ни разу не приснился, ни он, ни Владимир Дятел, ни уже тогда седенькая Любовь Васильевна Голубкова («Любочка», — говорили мы, каждый раз с новым оттенком), а только тот зал, его тягостная огромность, затянутая сумраком, где движется луч моего прожектора. То я свечу с томительной высоты самого верхнего яруса, и большое пятно тускло бродит по пустым креслам партера, то я сам в партере, который полон людей, и я высвечиваю их лица, будто ищу кого-то...

Ни разу во сне я не светил на сцену.

Когда я бываю в театре, я всегда гляжу на гроздь прожекторов, ожидая, когда возле них появится фигурка осветителя. Мне кажется, что я один в зале знаю о его присутствии. Странное такое чувство.

1

Первое впечатление. Что из того, что уже столько лет я приучаю себя не доверяться ему. По меньшей мере половину того, с чем сталкиваешься, не доводится увидеть во второй раз, так что половина наших знаний, наших мыслей, родившихся при этом, обязана первому впечатлению. Оно столь же основательно, сколь и второе, третье, четвертое. Главное же в нем — что оно неповторимо. Оно застает нас такими, какие мы есть, а не какими кажемся.

По первому впечатлению все было огромным, и прежде всего даже не зал, а сцена. Сцену, а вернее, ее ГОРИЗОНТ, я увидел через открытые ворота похожего на ангар помещения, которое, как в тот же день выяснилось, называли КАРМАНОМ. Такой же карман был и по другую ее сторону. Сцена была пуста. То есть на ней не было никаких декораций, а просто стоял человек и, напряженно закинув голову, что-то кричал. Кричал он наверх, откуда доносился отдаленный топот шагов. Там были КОЛОСНИКИ. Это было так далеко и высоко, что как бы уже не имело никакого отношения ни к сцене, ни к залу, и я, невежественно решив, что там и есть мое рабочее место, поначалу очень расстроился.

И все-таки прежде всего был горизонт. Впрочем, может быть, если бы на его фоне никто тогда не стоял, он бы не поразил меня столь явно. Выбеленный так, что ни пятнышка не проступало на его известковой основе, он, словно завершая главный неф какого-нибудь собора, был мощно устремлен вверх и исходил там в срезе сферы, которая, казалось, лишь по недоразумению не расписана мастерами фрески. Есть такие формы, которые, выражая идею пространства, подчиняют его себе. Таков был этот горизонт, и впоследствии я не раз видел, как гастролирующие режиссеры, обнаружив его, отказывались от своих тряпочных задников. Посветить на него, особенно голубым светом, и за ним, вернее, в нем самом, открывалась даль, бесконечность...

Итак, рядом с ним стоял человек и нутужно кричал наверх. Человек был большой, с мощным животом, который начинался сразу от подбородка, так чтоб рождалось смутное ощущение какой-то связи этой выпяченности с вогнутостью горизонта, а по второму впечатлению становилось ясно, что человек и сам об этом догадывался. Звали его Никифор Степанович, и, как выяснилось, он был главным машинистом сцены.

Когда совсем недавно, по прошествии пятнадцати лет, я снова проходил по этой сцене, зная, что Перетряхин умер, а Дятел давно уже здесь не работает, и только что встретив в фойе старенькую — да полно, состарилась ли она? разве что походкой? — Любочку Голубкову со значком билетерши на синем форменном халате — она меня не узнала, не узнала бы, даже останови я ее, — когда я проходил там, то почему-то ощутишь всего было отсутствие Никифора Степановича. Впрочем, ему тогда, как и Перетряхину, было под шестьдесят...

Гигантская двадцатичетырехрожковая люстра была спущена прямо на спинки кресел, и около нее, наступая тяжелыми ногами на гофрированные картонки из-под лампочек, возился осветитель.

— А... новенький,— приветствовал он, разгибаясь, и, оттопырив нижнюю губу, пофукал на потное запыленное лицо.— Тебе Перетряхина? Перетряхин там, — он кивнул наверх.

Я решил, что это шутка, но все же машинально поднял голову к далекому потолку, в который, утончаясь, уходил трос люстры. Там, естественно, ничего интересного больше не было, и я снова перевел взгляд на осветителя, хмыкнув на всякий случай.

— На чердаке Перетряхин, — прочитав в моих глазах плохо скрытое недоумение, пояснил осветитель.

Его звали Дятел, Владимир Дятел. — Знаешь, как идти? — Он повернул меня лицом к выходу и принялся растолковывать. 'Его вытянутая вперед рука выписывала сложные фигуры, толстые пальцы перекидывались влево и вправо, и, глядя на них, я никак не мог сосредоточиться. Со, мной всегда так — когда мне пытаются разъяснить маршрут, я застреваю на первом же повороте и дальше слушаю только из вежливости. Однако, к своему удивлению, я довольно быстро, всего лишь раз залетев в тупик, разыскал чердак и, открыв небольшую, обитую железом дверь, оказался посреди чего-то пыльного, низкого и темного, в скрещенных балках перекрытий. Не сразу разобрал я в этом душном сумраке фигуры двух людей, склонившихся над лебедкой. Дальше виднелись еще две такие же лебедки, очевидно для других люстр.

Перетряхин продержал меня минут двадцать. Он говорил, а суховатая, с птичьим личиком, пожилая его помощница все это время сидела поодаль, непроницаемо глядя в сторону. Эта неподвижность, по всей видимости, раздражала старика, и, хотя он ни разу не повернулся к ней, уже через несколько минут я осознал, что его странно запальчивая речь без всякого сомнения предназначалась нам двоим. Еще я понял, что освещать — это дело почетное и ответственное, а если что, если какая накладка, то начальство в лепестки разорвет. Так и сказал: «в лепестки». Когда он кончил, его помощница (это была Любовь Васильевна) немедленно поднялась, так что я невольно подумал о взаимоотношениях, которые шлифовались, видно, не год и не два.

Я ожидал, что меня сразу посадят за прожектор и я начну светить, но ничего подобного не произошло. Я сидел в осветительской камерке и налаживал настольные лампы для артистических уборных. Ламп требовалось много — надвигались большие гастроли, и Перетряхин, порывшись в одной из своих кладовок, вывалил к нашим ногам гору допотопных светильников эпохи первых пятилеток. Они были так тяжелы, словно основанием им служили блины штанги, а электрические с оборванными вилками шнуры от ветхости сухо переламывались под своей истлевшей кожей.

— Это барахло и на помойке держать стыдно! — возмутился Дятел.

— На помойке? — с изумлением повторил Перетряхин. — Где на помойке? Скажут, на помойке! — И, как гирию, вырвав из горки светильник, пробежал заботливыми пальцами вдоль шнура, ощупывая его сломанный хребет. — Да эта лампа еще сто лет людям служить будет! И нас с тобой переживет!

— А! — с безнадёжностью в голосе отмахнулся Дятел, брезгливо поднял два светильника с чудом сохранившимися вилками и понес, демонстративно волоча шнуры по полу.

— Вилки, вилки разобьешь! — бросился вдогонку Перетряхин, пытаясь подхватить ускользающие шнуры. И тут я первый раз подумал, что с Перетряхиным, пожалуй, тяжело.

Он был невысок, гораздо ниже меня, зато широк в плечах, даже статен, но это не бросалось в глаза, потому что ходил он как мальчишка — головой вперед, и все казалось, вот-вот побежит. На носу у него были очки, но смотрел он всегда поверх стекол, как бы набычившись. Взгляд у него был недоверчивый.

Приделявать новые шнуры к старым светильникам Дятел наотрез отказался. Это бы противоречило тому, что он уже высказал Перетряхину. Я вполне искренне поддакивал, пока не сообразил, что всю работу придется сделать мне одному, — вытянув из каморки стремянку и сунув в карманы по паре лампочек, Дятел демонстративно направился в сторону фойе. Жест, естественно, предназначался Перетряхину, но того поблизости не было, так что мне на минуту досталась его роль.

2

Петрозаводский театр оперы и балета привез своих осветителей — благо, соседи, — так что я снова оказался не у дел. Однако дело мне, конечно, нашлось: вид незанятого осветителя был для Перетряхина оскорбителен. Рабочие сцены открыли оркестровую яму, до того затянутую щитами, и я принялся таскать туда пюпитры. Я было намекнул Перетряхину, что это вовсе не осветительская аппаратура и, стало быть, таскать ее должен кто-то другой, но он, будто ожидая моего вопроса, торжествуя указал на подсветки — такие цилиндрики с пальчиковой лампой внутри. Естественно, от лампочки тянулся электрический шнур, что сообщало пюпитру еще большее сходство с полноценным электрическим прибором. Конечно, можно было бы поручить пюпитры и рабочим сцены. Они бы справились лучше нас и не задавали пустых вопросов, но кто будет отвечать за исправность, за то, чтоб светило? Им что — бросили и пошли, а кто ответит?

Дятел таскал молча — очевидно, у него когда-то так и не нашлось веских контраргументов.

И все-таки пюпитры были мебелью, тяжелой и громоздкой. Они били по коленям своими деревянными ногами — о, где вы, ажурные, как в Большом зале филармонии?! — планшеты то и дело выезжали из стоек, так чтобы как раз перед узкой дверью упереться в косяк, словно в отместку за бесцеремонное к себе отношение, а потом хлопали по пальцам... Проклятая работа! Контрабасы, медь, вторые скрипки, виолончели, деревянные духовые, скрипки/первые, что еще?!

Наконец мы огляделись. То, что раньше было оркестровой ямой, теперь походило на полосу препятствий. Оставалось ее преодолеть. Кажется, я понял, отчего это дирижер обычно так долго движется к своему пульту. Прибежал Перетряхин и, приказав нам оставаться на своих местах, полез в РЕГУЛЯТОРНУЮ, или, как мы говорили для простоты, регулятор. Регуляторная — это командный пункт, откуда главный осветитель руководит стрельбой по сцене из всех видов нашего оружия. Яма, как и зал, тоже включалась оттуда.

— Горит? — крикнул он, высовывая голову. Он был низковат для своего пункта.

— Горит! — сердито буркнул Дятел. Но он был не прав, горело только две трети подсветок.

Остаток дня я провел в оркестровой яме. Один. Дятел, заслонившись стремянкой, исчез в фойе. Как будто бы там не горело...

Театр открыл гастроли «Лебединым озером». Балет — это всегда много занятого народу, и наш служебный буфет работал вовсю. На первое были сосиски с пюре. Кто бы ни приезжал, что бы ни появлялось за его стеклянными витринами — бывало, ананасы, бананы, красная икра, на первое оставались неизменные сосиски с пюре, так что вскоре я пришел к убеждению, что они предназначены как раз для тех, кто тоже остается на месте в этом переменчивом театральном мире.

Поесть, однако, было не просто. Над нами, осветителями, даже посмеивались. Сколько раз это бывало: нетерпеливо обставившись, горчицу возьмешь с соседнего стола, нож попросишь, и вот

уже отрезал, мазнул, отправил в рот, и голову впервые за все это время поднял, чтобы доброжелательно оглядеться вокруг, а Перетряхин тут как тут. Как мы ни подгадывали, стоило только наколоть сосиску, как прибежал он.

Смотрит поверх очков, взгляд мучающийся, и, оказывается, пока мы тут расслаживаем, лодыря гоняем, где-то там лампочка перегорела, а фонарь не перенесен «на прострел» за кулисы, а светофильтры у выносной аппаратуры не протерты. Это мы-то должны протирать чужие светофильтры?! Да их только вчера поставили! Но он ведь не уйдет, встанет рядом и будет подергивать за руку, пока ты с каменным лицом не проглотишь то, что минуту назад предвещало тихую радость.

Сам он, кажется, не ел вовсе, но однажды я его все же поймал. Примостившись на краешке стула, будто и есть не собирался, а так просто, по пути, он, виновато посматривая, резал перочинным ножиком сосиску и, увидев меня, густо покраснел. Я великодушно прошел мимо к буфетной стойке, не позволив себе мелочного торжества, и затем со скромным достоинством присел поодаль, как бы солидаризируясь в мысли, что ничто человеческое нам не чуждо. Но плохо я его знал. Быстренько поев и вытерев рот носовым платком, он, раздвигая стулья, двинулся ко мне:

— Пойдем, поможешь мне! — и пошел с таким видом, как будто я, немедленно все бросив, должен был мчаться следом.

Ну как тут будешь к нему хорошим? Нет, прав Дятел — сумасшедший старик.

Перед первым актом никто из балерин к буфету не подбегал. Они мелко топотали в своих розовых атласных касках, в накрахмаленные и словно вздыхающих в такт шагам пачках, под' слоем грима у них были неподвижные, почти одинаковые личики, и даже вблизи они казались созданными из не совсем земного материала.

В радиодинамиках, вынесенных в наше фойе, зазвучал оркестр, и я пошел на сцену. Я стоял за кулисами, а они танцевали. Они поочередно выбегали на залитую светом сцену, меняя свои жестковатые кукольные походки на легкие прыжки и вращения.

И это был последний миг того балета, каким я его знал раньше, потому что затем их плечи и виски стали странно блестеть, а на лицах вместе с потом проступило усилие. Их губы улыбались, но в глазах появилось какое-то испуганное, предобморочное выражение. Казалось, еще немного, и они сломаются, но в этот момент танец кончился, и с повернутыми к залу улыбками они добежали до спасительного края кулис. Мокрые, они дышали, раскрыв рты, кашляли и сморкались, и кто-то, не выдержав, плакал, и кто-то кого-то утешал. Они обвисли, как марионетки, и казалось, никакая сила не заставит их вернуться на сцену. Но музыка продолжалась, и вдруг эта взмыленная кучка разобранных рук и ног как-то осмысленно зашевелилась, и не успел я осознать причину этой перемены, как они уже побежали на свет — с одинаковой легкостью и одинаковым выражением своих мальчишеских со сдвинутыми лопатками спин...

А злой волшебник, совершая свои свирепые прыжки по кругу сцены, налетел в глубине на деревянную декорацию, изображающую берег и камыши. Я видел, как на лету он глухо ударился коленом, выколотив в пристрельный луч прожектора облачко пыли, охнул, но, не задерживаясь, снова взвился в воздух. Мыча от боли при каждом прыжке, он все-таки докрутил до просцениума и, победительно откинув голову, грохнулся на раненое колено — лицо его улыбалось.

3

Тут я должен сделать перерыв, чтобы рассказать о Генке, потому что тогда, кроме Перетряхина, был еще Генка, мой друг, а точнее, мой главный собеседник, ибо если задуматься над тем, в чем яснее всего выражает себя дружба, так это прежде всего в потребности говорить друг с другом. По крайней мере, так было у нас — наша дружба была многоречива, молчание разъедало ее, и если сейчас почти ничего не осталось от той поры, то только потому, что не

осталось слов. Не спорю, есть дружба и другого рода, но для этой другой мы оба были слишком независимы.

Генка работал радиотехником в каком-то НИИ в Гавани. Жил он, как и я, недалеко от залива, который мы перепахивали летом на лодке, а зимой на лыжах. Лодку можно было взять напрокат на Ковше, за Шкиперским протоком, чтобы, лихо отмахав на глазах у захламленных набережных вдоль протоки, выскочить мимо двух петровских сторожевых башенок в открытое море. Морем там, конечно, ни тогда, ни тем более сейчас и не пахло. Я уж не говорю о разводах нефти... Бывало, пройдешь на веслах километра два, уже и дома слились в одну черту, и Исаакий сизо выставился под золотым шлемом, простор, тишина, а под лодкой ошметья водорослей, еще несколько гребков, и она притормаживает, шурша о песчаное дно.

Когда нам было еще по шестнадцати, где-то на этой мелкоте мы однажды сломали весло. Разогнались, хотели перегрести друг друга — вот Генкино весло и хрястнуло, и следующий гребок он сделал уже палкой, оставшейся в уключине. Лодку развернуло, и без нашего участия она подплыла/как раз к тому месту, где из воды торчал другой конец весла.

Долго мы добирались до лодочной станции. Генка подгребал обломком, но нас то и дело заносило. Я ворчал: не мог поосторожнее. Денег за поломанное весло у нас с собой не нашлось, и Генка побежал домой. Мог побежать я, я даже (правда, не очень настойчиво) предложил ему, но он резонно ответил: «Ведь это я сломал весло». И я с ним согласился. Вернулся он довольно скоро, рассчитался, и мы пошли. Шли молча, и если бы до наших домов были две разные дороги, мы бы, наверное, разошлись.

Если основой нашей дружбы являлись беседы, то относительно самих бесед можно сказать, что почти все они были беседами на ходу, в буквальном смысле этого слова, и при желании в этом можно усмотреть некий изъян. Пусть в таком пешеходном варианте просматривались вполне устойчивые формы общения, восходящие — уж это мы знали — к милым нам древним грекам, и все-таки в нем чего-то недоставало, скажем, элемента задушевности. Мы не испытывали потребности заглянуть в глаза друг другу, больше полагаясь на самый смысл высказываемого. Мы словно опасались, что наши взгляды, нечаянно столкнувшись, вызволят на свет то, что мы подсознательно скрывали, — свою несовместимость. Вот почему смотрели мы вперед — в перспективу вечерней улицы, выходящей, например, к морю, где зажатый между двумя черными стенами домов громыхал какой-нибудь закат.

Странно теперь вспоминать те бесчисленные наши прогулки. В них толпятся, заслоня друг друга, вечерние облака, дома и деревья, нет только слов. Вот почему и эта прогулка, о которой я сейчас расскажу, хотя она почти ничем не примечательней других, вспоминается в какой-то неправдоподобной немоте.

За городом была осень — в городе только отсвет ее. Мы стояли в тамбуре у открытых с двух сторон дверей и смотрели. Электричка шла полупустой — был уже шестой час. Низкое солнце хлестало прямо в глаза, и отодвигающийся город, тогда он кончался гораздо раньше, чем сейчас, был из-за этого слегка притемненным. В его исполосованных тенями предвечерних улицах медленно двигались машины, вовсе уж не спеша шли люди — и город был словно уже не мой, был помимо меня, как для кого-то вот эта моя электричка, прослеженная снизу, с тех улиц, немного завидующим взглядом.

Как стучали колеса, как отшвыривало назад пронизанные светом кусты и деревья, как поворачивались на равнине мачты высоковольтной линии, как колотился ветер, — в который раз мы видели все это... А потом, уже перед самым Павловском, когда за распаханными полянами встал, обнажив стволы, вечерний высокий лес, было мгновение: лучи текли вдоль черных борозд, земля влажно блестела, и посреди, словно вылепленная из земли и света, стояла фигурка человека...

Тогда мы с Генкой были в высшей степени наделены способностью узнавания. И эта фигурка в радиально расходящихся снопах мягкого света, влажные отблески на комьях почвы были для

меня тем именно бесценны, что за ними я узнавал, например, «Сеятеля» Ван-Гога. Можно только удивляться, сколь неточной могла быть такая подстановка при том абсолютном чувстве восторга, который она вызывала.

В парке было уже по-вечернему свежо, сумерки втягивались в каждую из аллей, и что-то кладбищенское чудилось за белыми стволами берез. В глубине широкого коридора деревьев на глухо-зеленой поляне светлел павильон. Его высокие сводчатые окна были черны, а нутро выбито войной, но, сливаясь со строгой стеной деревьев, при лимонном облаке, остановившемся за ним, он был изысканно живописен, — вот-вот вокруг легко побегут белые женские призраки.

Мы шли все дальше, вдоль долины Славянки, но не приближаясь к ней, так что вскоре пропало ощущение парка — мы были в лесу. Небо еще светилось над нами, и за день наглотавшиеся света оранжевые и желтые березы и клены тихо и ровно выдыхали его среди обступающих елей. Белое платье в конце аллеи и моряк рядом — это тоже когда-то уже было, как и этот пруд с опрокинутым в него закатом. На берегу какой-то любитель заканчивал свой бесполезный спор с натурой — не успели мы подойти, как он пугливо захлопнул створки этюдника и сделал вид, что поглощен исключительно сборкой треноги. Мы бродили бесцельно и оттого, наверное, внушали тревогу последним отдыхающим, потянувшимся в сторону вокзала.

Откуда взялись эти кресты — три деревянных креста на могилах? Фамилии женщин, они ничего не говорили нам, но на всех трех жестяных табличках был указан один и тот же год — 1942-й. В сорок втором здесь были только фашисты.

— Расстреляли, — сказал Генка.

Мы забрели к деревне Глазово. Высокая трава окружала нас, под ногами хлюпала вода, со стороны заката шли холодные облака. Они шли по всему небу, и каждое из них понизу было отчеркнуто красным. Мы молча повернули назад.

Мы шли, невольно ускоряя шаги. Нам было не по себе, хотя мы не признались бы в этом друг другу. Наконец впереди посветлело, деревья раздались в стороны, и мы вышли на поляну. Над ней в бледном небе стояла луна. Нас окружали стога. От них веяло теплом и спокойствием. На краю поляны возле кустов горел костер. До нас донеслись голоса.

У костра сидели трое парней, один держал гитару и что-то пел. Рядом стояла девушка и, обмакивая конец тонкого прута в оранжевую грудку углей, водила им по стене темноты. Светящийся уголек выписывал кабалистические знаки... Девушка машинально, не видя нас, посмотрела в нашу сторону, и ее прутик очертил огненный полукруг («чур меня!»). Острое чувство ревнивой зависти скрытно пронзило обоих нас. Жизнь прекрасна, говорились нам, вот она, перед вами, для вас! Но почему же до сих пор мы с Генкой ходили только возле нее, видя, но не вступая, любуясь, но не участвуя? В тот миг мне показалось, что костер и люди возле него и есть та самая истинная жизнь, отвоеванная у темного бесформенного пространства, в котором мы блуждали, или же скорее воплощенная этим пространством, его потребностью в самовыражении...

Можно было подойти, ведь на то это и был костер, чтобы на него сходились со всех сторон. Но мы резко повернули в сторону.

4

Сегодня вечером концерт. Концерт мастеров эстрады, как сказано в афише. И мой дебют, мой выход. Я волнуюсь, я уже раз десять сбегал на свой осветительский пост в углу бельэтажа, где стоит один-единственный прожектор — старый, в мятом кожухе. Протер линзу. Проверил стопорный болт — отвернул и плавно поводит прожектором вдоль портала — не скрипит ли где-нибудь? А стул, не развалится ли подо мной? А телефонная связь — прозванивал ли Перетряхин мою линию? Ведь я сегодня один. Голубковой и Дятлу Перетряхин дал выходной.

Пока я бегал между бельэтажем и осветительской каморкой, железный занавес уже подняли и принялись подвешивать концертный из голубого бархата задник и такие же кулисы. Дежурный радист установил микрофоны. Радиста я еще толком не знал, только здоровался да слышал, что

его зовут Сеней. Чтобы добраться до своего прожектора, я вынужден был пробегать через его радиорубку — это прямо со сцены, по металлической лестнице — и Сеня, снова занявший свой пост, каждый раз оборачивался, словно я за его спиной мог повернуть какой-нибудь там тумблер. Дело у него неплохое, абсолютно не пыльное, со своей радиоложей, но, если подумать, много ли тут от театра?

Перетрахин велел отрегулировать и прожектор Любви Васильевны. Я подправил свет, так чтобы луч падал как раз на просцениум, немного захватывая и сцену. Чтобы увеличить световое пятно, я подвинул лампу чуть ли не к самой линзе и открыл полностью диафрагму системы «Ирис», как в фотоаппаратах. Делать здесь больше было нечего, но я еще поболтался в пустой темной ложе с сухим запахом пыли, навсегда въевшимся в обивку. В ложе имелся даже бархатный затертый диванчик. Кому все это принадлежало? Ведь зрителей сюда не пускали. Поскольку с противоположной стороны такую же ложу занимали радисты, я решил, что это наша, осветительская. Личная ложа на весь театральный сезон...

С моим прожектором было посложнее — лучу полагалось быть упругим, с небольшой площадью рассеивания — как-никак ведущий, и, открыв дверцу, я долго поворачивал лампу и так и эдак, чтобы сделать пятно по возможности круглым. Спирали моей тысячеватки, разогреваясь, тихо и тонко гудели, радужными полосками просматривались в ярком пятне, направленном на ближнюю стенку, по окружности пятна тоже пробивалось три-четыре цвета спектра, но сфокусировать почтче я не мог. Это уже зависело не от меня, а от прожектора. Откровенно говоря, Любочкин мне понравился больше, ходил он плавно, словно вышколенный ее мягкой сухонькой ручкой. А этот был дятловский, но Владимир, насколько я успел заметить, вовсе не вылезал в бельэтаж. Он держался поближе к фойе.

Время шло как-то уж слишком быстро. В фойе появились первые островки зрителей. Они скапливались у зеркал, и наблюдать за ними было интересно. Женщины долго причесывались, а потом легкими стрекозиными касаниями пальцев опять приводили волосы в беспорядок, но это уже был другой беспорядок, мужчины наоборот подглядывали за собой стыдливо, останавливались перед зеркалом как бы невзначай и, морщась, торопливо водили расческой — глаза же были предельно внимательны, чтобы уловить все несообразности за короткое мгновение, позволенное себе.

Я заметил, что мужчины, даже пренебрегая зеркалом, смотрели на себя гораздо зорче, чем женщины.

В нашем служебном фойе расхаживали артисты, уже переодетые к выступлению. Никто их не узнавал, да они на это и не рассчитывали. Они приехали на работу. Работа начиналась в восемь, а к девяти надо было успеть в другой Дворец культуры, где, проделав тот же номер и получив ту же порцию аплодисментов, они снова переоденутся, спрячут в чемоданчик эстрадный костюм и, подняв ворот пальто, сядут в троллейбус или в трамвай. Наверняка и у них был свой звездный час и жажда признания, и они ходили, глядя встречным прямо в глаза. Но время шло, и их переставали узнавать. Наверное, нужно какое-то совершенно невероятное стечение обстоятельств, чтобы и год, и два, и три, и десять лет все вокруг знали твою фамилию, твое лицо и чтобы афиша твоя заставляла остановиться. Интересно, что чувствует знаменитость, когда она идет по улице? В Ленинграде знаменитостей не так уж мало, так что раз в месяц обязательно кто-нибудь попадаетеся. Я лично при этом чувствую себя странно — мне кажется, что я вижу двойника. У него будничное лицо, он устал или озабочен, и, если невзначай задеть его плечом, он с прекрасной выучкой горожанина неуловимо вильнет в сторону. И все-таки жаль, что на улице между нами нет никакой рампы. В этом — что-то обидное для нас двоих.

Прозвенел первый звонок, и я взлетел к себе наверх. Я так быстро проскочил радиорубку, что Сеня даже не успел обернуться, и вот, открыв дверь, я оказался один на один с целым зрительным залом. Ну, не с целым — с половиной. Этого было достаточно, чтобы я сделал усталое равнодушное лицо и, глядя поверх голов, торжественно спустился по трем ступенькам к своему прожектору. В зале стал меркнуть свет. Руки у меня дрожали. На мгновение все погрузилось во тьму, провалилось куда-то и перестало существовать, и тут же со всех выносных софитов, из осветительских галерок плавно хлынуло светом, залило наш вишнево-красный занавес, в моем

прожекторе тенькнуло, и я понял, что он тоже включен. Луча еще не было — он был заперт, как инструктировал Перетряхин, диафрагмой. С ближней ко мне стороны стремительно вышел конферансье и, потрагивая занавес левой рукой, будто отталкивая, подошел к среднему микрофону. Сюда и был нацелен мой фонарь. Я с мгновенной плавностью открыл диафрагму, и конферансье даже прищурился. Привет!

Три номера я просидел, держа онемевшей рукой прожектор. Светить было не на что — на сцене было и без того светло. Сначала пел певец, потом певица. Ей подыгрывал дуэт баянистов, и все трое весело перемигивались. Зал слушал. Во время акробатического этюда я решил, что можно поставить фонарь на фиксатор, и вместе со всеми стал смотреть, как в последнем усилии трепещут мышцы, как мелко ходит в стороны набрякшая вместе с шеей голова в черной шапочке, когда над ней, аккуратно положив на эту шапочку пальцы, взмывает на одной руке более легкий партнер.

Этому номеру аплодировали больше других, и я не сразу различил потренькивание своего телефона.

— Светишь? — раздался в трубке строгий голос Перетряхина.

— Да, — шепотом ответил я.

— Сейчас балет будет, — сказал Перетряхин, — я поиграю светом, а ты води, слышишь?!

— Да, — прошептал я.

Это была сцена из «Спартака» — дуэт Спартака и Фригии. Оба исполнителя были очень молодыми, наверное, только что кончили училище, и я, как увидел, с каким трудом он ее поднял — а весь танец состоял из сплошных силовых поддержек, — так до самого конца проволновался, как бы он ее не уронил. По-моему, зал чувствовал то же самое. С чего они решили выступать вместе? Она была слишком велика для него. Смотреть, как он выжимает ее над собой, было мучительно. Играл рояль, шла тема любви, и Перетряхин играл светом. Он посылал на задник то голубые, то розовые тона, затем группами выключил все выносные прожектора, и в сумерках сцены остался только мой вызывающе яркий луч. Вцепившись в прожектор двумя руками, я вел его за Спартаком и Фригией, боясь отстать и готовый к тому, что он ее сейчас уронит, чтобы сразу убрать свет. Но Спартак продержался до конца, и, когда, опять подняв, он, виляя от напряжения спиной, понес Фригию за кулисы, зал с глубоким вздохом облегчения захлопал. Я бессильно опустил одеревеневшие руки. Интересно, кому из нас было труднее...

На выступлении артиста оригинального жанра я снова наглухо закрепил прожектор. Артист выступал перед занавесом. Был он маленький и неказистый. Впрочем, он тут же спрятался за свою толстенькую ладонь, сделав из нее что-то вроде резонатора, и задундел. Он исполнял известный фокстрот со старой довоенной пластинки, фокстрот своей молодости на пружинном патефоне, — играл то за гавайскую гитару, то за кларнет или тромбон, играл очень натурально, и, конечно, металлическую иглоку, их было много в той треугольной коробочке, выдвигающейся из патефонного угла, заело, и грампластинка, тяжелая, как тарелка, принялась шипеть и щелкать, заикаясь на одном месте: «та-рам, та-рам»... Тогда, оторвавшись от военного, скрипящего ремнями, как кожаный чемодан, к патефону подбежала она — тонкие дужки выщипанных бровей, губы красным помадным бантиком, прическа — валик надо лбом и валики у плеч, — и, смеясь, толкнула наманикюренным пальчиком тяжелую мембрану. Музыка продолжалась. Артисту хлопали. Каждый вспомнил свое. Совсем недавно я снова видел его на сцене. Кажется, он ничуть не постарел. И пластинка была той же. Только звучала еще грустней.

Наконец объявили выступление знаменитого ансамбля. Тогда он был знаменит больше, чем сейчас, может быть потому, что его посолондневшие поклонники давно уже приобщились к классике, к тому же он был молод, и его бодрые песенки были ему к лицу. Артисты чуть ли не в обнимку наклонялись к микрофону, и он фиксировал их расчудесное «лоли-пап! па-рам-пам-пам». Но зрители ждали солистку. Уж давно, в который раз сменились эти вокальные юноши, а она как будто все та же, может быть даже лучше той. На эстраде мало певцов, с которыми можно что-то вспомнить. Почему-то быть всенепременно новым, сегодняшним, считается хорошим тоном. А с ней — чувствуешь время. Но она выступала во втором отделении. Пока же объявили антракт.

— Вот что, Сережа, — сказал Перетряхин, хватая в щепотку — такая у него была привычка — рукав моей куртки и глядя на меня поверх очков. — Для первого раза хорошо, только ты, понимаешь ли, низко берешь. Ты им в ноги светишь... А лица что? Тут ведь своя тонкость есть — ты сидишь наверху, сбоку, а видеть должен, как те, кто в партере, в самой середине. Понял, что я хочу сказать?

Я молча кивнул, но самолюбие не выдержало:

— При чем тут партер? Если так, посадили бы кого-то за другой фонарь, и все.

Брови Перетряхина подскочили над дужками очков, он выпустил мой рукав, но тут же снова прицепнулся к нему:

— Э... ничего ты не понял. — Не могу вынести его взгляд, взгляд человека, вокруг которого все всё делают не так. — Ничего. — Он посмотрел себе под ноги, словно отыскивая некую точку, чтобы сконцентрировать в ней свои мысли, и, подняв голову, окинул меня просветленными глазами:

— Ты думаешь, из чего состоит фигура актера на сцене?

— Из мяса и костей, — уныло сострил я. Перетряхин подавился бранной согласной, сделал паузу, в которую окончательно усмирив невоспитанное слово, и очень строго, просто невыносимо строго посмотрел на меня. Так смотрят люди, не имеющие власти над другими.

— Фигура, чтоб ты знал, состоит из света и тени. «Свет и тень», «Свет и тень», не было ли такого кинофильма?

— А что они дают? — настаивал он.

В самом деле, что они такое могут дать?

— Они дают объем. Осветитель, он не только живописец, он еще и скульптор, понял? Особенно в балете.

— Ох уж и балет, — усмехнулся я. Самое забавное, что он был прав. Нет ничего неприятней, чем сражаться с чужой правотой.

— Это балет! — серьезно сказал Перетряхин. — А теперь ответь мне, могут ли дать объем два встречных фонаря?

Я молчал. Какого черта он учил меня азбуке? И что он знает о скульптуре? Читал ли он всемирную историю искусств? А я как раз сейчас читаю. Знает ли он, кто такие Фидий, Пракситель, Поликлет? Слышал ли про англичанина Генри Мура с его дырами в скульптуре, сообщающими ей трехмерность?

— Вот что, Сережа, — приняв мое молчание за раскаяние, примирительно сказал Перетряхин, — у тебя там наверху есть светофильтры?

— Есть.

— Какие?

— Красный, зеленый, голубой...

— Когда она, — он назвал певицу, — будет петь, — он назвал известную песню, — поставишь светло-голубенький. Все понятно?

К фонарю я сел только после третьего звонка. На зал даже не оглянулся. Посмотрим, кто из нас художник!

И вот она вышла. После каждой песни ей несли цветы. Что-то ей даже пришлось исполнить на «бис», и я разнервничался — так, чего доброго, до моей песни и не дойдет. Но тут заиграли знакомое вступление, сцена стала меркнуть, и я быстренько вставил светофильтр. Он был желто-зеленого цвета, такого яркого, что если через него посмотреть в пасмурный день на улицу, покажется, что там солнце. Я нашел его в нашей камерке, оттер от пыли, промыл и отнес наверх. Это и был мой сюрприз.

«В эту белую ночь, — пела певица, — я заснуть не могу...»

Ну кто сказал, что она голубая, разве у гуляющих по набережной голубые холодные лица? Нет, на них мягкий желтоватый отсвет незакатного неба, а рядом — свежий зеленый цвет июньской листвы. Я так ясно представил себе эту чуть подсвеченную листву, каждый листик отдельно высовывается из тени, и лица под ней в рефlekсах нежно-зеленого.

Если ты с малых лет в Ленинграде живешь,
Ты поймешь меня, друг, ты поймешь...

Я родился здесь, мне ли не понять, как это бывает. Сколько белых ночей провели мы с Генкой на свежих пустых проспектах. Сцена постепенно погасла, только на заднике тлело смутное, словно с примесью дыма над Петроградской стороной, сияние. Певица стояла в длинном желто-зеленом луче. Я бросил торжествующий взгляд на регулятор, где в освещенной щели обычно паслась голова Перетряхина, и увидел, что он неподвижно смотрит на меня, как бы очень удивленный. То-то же! Но, переводя взгляд обратно на сцену, я уловил краем глаза какое-то движение в регуляторе. Это двигался Перетряхин. Тренькнул телефон. В трубке раздался свистящий шепот. Бросить фонарь? Так вот, на глазах у всех? А песня? И все-таки он приказывал мне идти на сцену. Я недоуменно поднялся и тихо вышел.

— Чего это там у тебя? — обернулся в своей ложе Сеня.

— Что чего? — ответил я с вызовом.

— Да так, — пожал плечом Сеня, — болото какое-то...

Я думал, Перетряхин сразу выйдет из регулятора, но он заставил меня прождать до конца концерта.

— Ну что? — кинулся я к нему, готовый до последнего отстаивать свою концепцию света и тени. Перетряхин обошел меня и, словно уже спиной догадавшись, что это я, остановился. Я приготовился к проповеди, но вместо нее он горестно махнул рукой и зашагал к себе.

Что было, то было, и ничего не поправить. А может, кому-нибудь даже понравился мой свет. Певица поет и сейчас. Зовут ее Эдита Пьеха. Подойти к ней и спросить, помнит ли, как ее освещали зеленым? Ведь наверняка это было только однажды в ее артистической карьере.

На следующий день мне поручили сделать осмотр нашей аппаратуры. Громыхал по порталным башням, расположенным по краям сцены, лазил в верхние ложи выносного света. Работа была обычная, но я воспринимал ее как наказание. Она была грязной.

Что такое ложи с выносной аппаратурой — это прежде всего пыль в палец толщиной. Все будто только и ждали нового осветителя, чтобы отправить его наверх.

У двух прожекторов сменил лампы — они еще были целые, но спирали потемнели, как от окалины, хотя какая окалина может быть у молибдена и вольфрама? Короче, я их сменил, чтобы не лазить лишний раз. Проверил толстые штекеры, мы их называли пальцами, заизолировал в нескольких местах. Перетряхин врубил свет, и я подправил обе тройки потревоженных аппаратов, чтобы светили на сцену, не задевая арлекина — узенькой занавески над сценой.

Сначала я думал, что раз у меня левый ведущий прожектор, то и верхняя ложа у меня тоже только левая, а правая — это уж чужая забота, но меня послали и туда, и я ковырялся там с разьедающим душу убеждением, что вкалываю за чужого дядю. Да я не прочь, я — пожалуйста, но если б мне сказали, сделай, мол, любезность, выручи, без тебя никуда — принял бы и понесся бы с легким сердцем. А вот так, когда ходят с таким видом, что это вроде их и не касается, — так я не могу. Странно, но ведь нужно так немного, чтобы выйти на чистый свет самоотвержения, — одного попутного слова, одного легонького толчка. И пусть при этом кто-то задержит на нас благодарный взгляд. Кое в чем мы всю жизнь остаемся детьми — мы жаждем поощрения за хорошие поступки.

Зал пуст и сумрачен. Его недра не в силах осветить даже здоровенная «пятисотка», похожая на реторту из кабинета химии. Лампа высоко укреплена на бамбуковом шесте, который я после спектакля как знамя выношу из-за кулис. Это наш так называемый дежурный свет, «дежурка». Обычно зрителей, оставшихся в зале, чтобы переждать очередь в гардероб — все равно их сейчас попросят, уже двинулись между рядов уборщицы, вооруженные щетками и совками, — так вот, зрителей обычно интригует этот загадочный предмет. Некоторые даже склонны принять его за последний номер концертной программы и настаивают на своем праве оставаться на местах.

Счастливицам, может, удастся взглянуть и на противопожарный занавес. Из гофрированного железа, охваченного двутавровыми балками, он много внушительней подъемных ворот средневековья. Где-то низко гудит мотор, и под тревожный звонок занавес медленно и неотвратно опускается. И хотя гордый Никифор Степанович, держа руку на пульте, бдительно следит, чтобы никто не приближался к красной черте, каждый раз я с некоторым содроганием представляю, что было бы, если бы... Что он еще напоминает — пресс? Приспособление доктора Гильотена? Железный занавес наглухо перекрывает сцену. Теперь зал — это зал, а сцена — это сцена. Существует он во всех уважающих себя театрах. На случай пожара. Пусть уж горит что-нибудь одно...

На сцене «Марица». Выездной спектакль. К оперетте, даже классической, я отношусь очень сдержанно. Музыкальная комедия... Наверное, эти безголосые дядьки в белых манишках, фраках и цилиндрах и в самом деле были когда-то смешны. Выпятив грудь, они топают в своих лакированных ботинках, всплескивают руками, прижимают их к сердцу, и, когда открывают рот, на их красных, натуженных шеях вздуваются вены.

«Дорогая, я пришел к вам, чтобы сказать, что я люблю вас!»

С героинями иначе — мне всегда больше нравились героини. Ими и жива классическая оперетта. Вот и сейчас я слышу голос. Героиня осталась одна, она озадачена, она тоскует. Мелодрама набирает силу, музыка полна ожидания и надежды, голос звучит легко и просторно, в нем столько доверия чувству.

— Все-таки какой у нее голос! — задумчиво говорит за моей спиной один грустный человек другому. Они всё в тех же фраках и через минуту снова будут ломать ваньку, а сейчас слушают и им грустно.

Слева от меня на боковой кулисе четкий нежный профиль женщины под шляпой со страусовыми перьями. Где-то там она сама, а здесь рядом, на натянутом полотне, прижатом к планшету чугунными плашками, ее силуэт — как будто тень ее голоса движется передо мной.

Ночью я долго не ложусь спать. Сажу на кухне, курю. «Это всего лишь профиль, — уговариваю я себя, — мир теней»... Но внутри что-то не разжимается и саднит.

5

— Послушай, — спрашиваю я, волнуясь, — я не буду там белой вороной?

— Да брось ты, — улыбается Генка.

— Послушай, — снова не выдерживаю я, — а кто там будет?

Мы долго едем по улицам, которые ведут к моей работе, и странно думать, что таким путем мы направляемся в полную противоположность моим будням. В этом совпадении маршрутов при абсолютно разных целях, к которым они приводят, я чувствую какой-то тайный вызов обстоятельствам своей жизни, какую-то важную перемену, поворот.

Вечерний город, он уже давно начал вечереть. С Тучкова моста мы обернулись в окно на закат. Закат напоминал человека, который засыпает, но еще не заснул, и опускающиеся веки вздрагивают, приоткрываясь, от каждого звука. Такой у него был беспомощно-сосредоточенный вид. Он был красен, как Бахус, и расположился широко, в полгоризонта. Изголовьем ему были черные штабеля бревен, крыши складов и трубы острова Декабристов, а в ногах лежали деревья набережной, что с Петроградской стороны, дома и заводы. Снизу холодно и широко бежала к нему темная, в червленых бликах Невка.

Был тот миг, когда еще не зажгли огни, и пока их еще не зажгли, улицы были полны темных людских силуэтов. И все стремились куда-то, сталкиваясь и разлетаясь.

— «Улица, тени беззвучно спешащих тело продать и забвенье купить», — вдруг сказал Генка, и я вздрогнул. Неужели он — это я? Но почему продать? Отдать, освободиться. Преодолеть его.

— А Люда там будет?

Генка молчит. Прежде чем сказать о Люде, он каждый раз словно повторяет про себя то, что было, чтобы подойти к сегодняшнему дню. И каждый новый раз молчание все дольше, потому что от начала все длиннее путь. А вначале Генка стал мужчиной. Это событие, на которое он разве что глухо намекнул мне, — но я-то понял! — явилось серьезным испытанием для нашей дружбы. Он как бы взлетел куда-то, а я мог только снизу, сложив рупором руки, спрашивать — как там? Но разве об этом спросишь? Наша общность во многом была общностью опыта. Теперь он искал другого собеседника. Но кое-что я знаю. Люда на десять лет его старше. М она замужем. Вот это и заставляет Генку возвращаться к первому дню. Для него это день сотворения — теперь он не мальчик и не гоноша, он взрослый человек, обремененный всем тем, что должен нести на своих плечах мужчина. Но он не понимает ее. Как она могла? То есть не в том смысле, что стала его первой женщиной, а что сразу же после этого не ушла к нему. Она по-прежнему с мужем и сыном — сыну шесть лет — и встречается с Генкой. Он обвиняет ее, она плачет и не реже раза в неделю они расстаются. Но как тут расстанешься, когда любовь? Генка хочет, чтобы все было честно, открыто, чтобы не прятаться. Он хочет, чтобы она обо всем сказала мужу, а она начинает плакать. «Тогда я сам скажу», — обещает он. «Нет, — говорит она и хватается его за руки, — нет, миленький, нет», — и плачет.

И вот мы в Новой Деревне, идем мимо новых домов, сколько их тут понастроили... я и не знал.

— Кажется, здесь, — говорит Генка, входя в подъезд, и мы начинаем подниматься. Можно бы и на лифте, но мы идем пешком. Нам нужно время подготовиться. У меня дрожат ноги — чего я волнуюсь?

Прямо с порога нас загребают в комнату.

— Знакомьтесь, это мой друг Сергей.

— Сергей, — киваю я во все стороны.

— Какой воспитанный! — ахает кто-то из женской надушенной кучки. Лиц я пока не различаю и все-таки каким-то образом уже знаю, что кто-то следит за мной.

Я в комнате, а Генка в коридоре. Отступать поздно, и теперь, наверное, я должен сесть. Спокойно сесть куда-нибудь и сделать что-нибудь такое, чтобы быть как все.

Все-таки Генка не имеет права так вот сразу меня бросать. Я оборачиваюсь, чтобы позвать его — скажем, мне понадобились спички, но тут в коридор из противоположной двери выходит молодая женщина, и Генка делает шаг к ней с совсем незнакомым мне выражением лица. Ее не назовешь красивой — худа и черные волосы, и когда она берет его за плечи и тянется к нему с открытым как бы товарищеским поцелуем, я испытываю ревность. Он что-то сказал ей, она засмеялась и где-то виденным мною жестом взлохматила ему голову. Он перехватил ее руку, и теперь они стоят, молча глядя друг на друга. Когда она засмеялась, я понял, что в ней что-то есть. Этот жалующийся смех — он для тех, кто хочет себя проявить, в чем-то обязательно утвердиться. Генка нас познакомил.

Она вежливо улыбнулась и тут же забыла обо мне. Именно забыла, я это почувствовал. Наверно, я даже был ей неприятен — как-никак друг, а значит, помеха. К тому же, что я ей? Генка — смуглый, тяжеловатый, с мужской статью, которая приходит к иным только после тридцати. Я против него мальчишка.

Я вернулся в комнату и, чтобы снова не застрять посередине, сразу же твердо двинулся к дивану и сел.

В руке у меня стакан. Так что можно отпить и спокойно оглядеться. Стакан вроде опущенного забрала. Я ищу глазами книжную полку и нерасчетливо натываюсь на взгляд, вызывающе устремленный на меня. Я усмехаюсь и, опустив локоть на колено, начинаю покачивать ногой. В стакане мотается невыпитый глоток портвейна. Так кто же кого пересмотрит? Еще секунда — и я позорно отведу глаза, но тут она произносит:

— Какие мы серьезные...

Тост за знакомство. Ее зовут Тома, Тамара.

Появляется Генка. Его голос как из другого мира, слышать его радостно. Он сзывает всех мужчин на кухню. С облегчением все бросают своих подруг и, собравшись вместе, на короткое мгновение вдыхают вольный воздух бескорыстного мужского братства. С вешалки приносят шляпу — каждый дает сколько может. Я бросаю три рубля, это все, что у меня есть, и мне, пожалуй, жалко этой бумажки, но бескорыстие нашего братства все-таки перевешивает. Кому бежать, разыгрываем «на морского». Выпадает мне.

Я одеваюсь при открытых в комнату дверях, я застегиваю плащ на все пуговицы, с каждой словно застегивая надежду, я затягиваю пояс — теперь уже ей не вырваться, я смотрю на тех, кто остается танцевать в теплом полумраке. Вот я поднимаю с пола огромную спортивную сумку, и тут кто-то выходит ко мне. Я выпрямляюсь — это Тома. У нее отважный вид.

— Возьмете за компанию?

Я молча киваю. Она бесшабашно разворачивается на одном каблуке, оглядывая вешалки, и коротенько бросает:

— А! Так пойду. — У нее мальчишеская стрижка. Она в тонком зеленом свитере. Она с меня ростом. Почти дылда.

— Тогда и я, — говорю я.

Она смотрит, как я снимаю плащ, и по глазам видно, что одобряет. И все, что я делаю в дальнейшем, мне кажется, сопровождается этим же выражением ее глаз.

Ближайшие магазины уже закрыты, поздно, мы садимся в автобус и едем в знакомый мне дежурный магазин, что возле моей работы. Я снова гляжу на освещенные окна моего Дворца культуры. Как он там сегодня, без меня? И чувствую себя блудным сыном.

У винного отдела мощный мужской заслон, напоминающий наше кухонное товарищество. Тома занимает очередь в кассу. Мы стоим, неловко переглядываясь издали, словно вопрошаем друг друга, почти чужие, почти забыв о приобретенном праве сказать друг другу «ты», и на

обратном пути снова приходится преодолевать уже преодоленное. Сумка тяжела, и бутылки угрожающе позвякивают.

— Дай мне, ты не умеешь, — первой произносит она это насильственное «ты», и становится легче.

— Тоже мне, силачка.

— Дай! — настаивает она. — Я греблей занимаюсь, на восьмерке, понял?

— Понял, — говорю я. — Вот тебе весло. — И уступаю одну ручку. — Поплыли.

Мы уплыли слишком далеко, оставив компанию на берегу. Возвращаться к ней странно, все равно что к старту. Нас заждались, нас ругают, нас подозревают, обводя объединяющим взглядом. Но они тоже уплыли куда-то, и их не догнать. В коридоре Люда, она стоит, почему-то одетая, глядя в одну точку, как после трудного разговора. Генка угрюмо перебирает грудку одежды в углу — вешалка обрушена. Он сухо прощается со мной, но о нем я уже не думаю.

В комнате, в полумраке, где свет только от радиолы, танцуют. Я сижу в кресле и медленно курю, глядя за стеклянную дверь, где на балконе, спиной, стоит Тома. Я знаю, что надо встать и выйти к ней. Еще ничего не произошло, и я сижу, зная, что будет дальше, и словно жалею об этом.

На балконе свежо, холодно, в небе ни одной звезды, небо как черная дыра. На стук двери Тома чуть поворачивает голову, отмечая мое появление. Я подхожу к ней сзади и обнимаю за плечи.

— Не надо, — монотонно отзывается она. Еще можно остановиться.

Теплые плечи, шелковистая легкая стрижка, горячая шея, к которой подбородок прижимает мою ладонь. Мы целуемся. И снова я один — вцепившись в жесткий холод перил. Внизу огромный, разлинованный на белесые дорожки двор. Он покачивается подо мной, как взлетное поле, левый его край неудержимо опрокидывается, и я стискиваю перила, чтобы выправить этот смертельный крен. Что со мной? Зачем? Где Тома? Я не могу разжать рук — что станет тогда с нами? Рядом какая-то парочка, они даже не подозревают, что летят со мной в этом опрокидывающемся пространстве, которое я удерживаю в последнем усилии...

Как странно, что в комнате никаких следов моей борьбы — все так же помаргивает зеленый вытянутый глазок индикатора, вращается диск грампластинки, тихо шевелятся темные, сдвоенные силуэты. Тома кладет мне руки на плечи, и мы танцуем. Теперь уже не страшно, теперь никак.

В два часа ночи мы стоим вместе на трамвайных путях. Улица вымерла. Как в трубу, в нее дует ветер, гоняя сор, который закручивается возле наших ног.

6

В левом «кармане» перегорел свет. В один день, обе лампы, высоко укрепленные на его огромных обшарпанных стенах. Лампы должен заменить Дятел. Тут или я, или он, Любочка может спокойно сидеть, — тут работа для мужчин. Я продолжаю наводить порядок в нашей комнате — мы его наводим чуть ли не каждый день, это, по убеждению Перетряхина, дисциплинирует, — и чувствую, что на сцене конфликт. Призрак конфликта уносил Дятел на своих больших ленивых плечах, приподнятых в яростном недоумении — почему он, а не я? Вообще-то считается — он считает, — что мы с ним заодно. «Что он тебе сказал?» — часто останавливает он меня, когда я спешу с перетряхинским заданием, — останавливает с ехидцей, разом подрывающей те деловые отношения, которые я тайком от него пытаюсь установить с нашим стариком. Я, с готовностью ухмыляясь, тут же передаю поручение Перетряхина в самом нелепом виде. Это становится какой-то проклятой припевкой в наших с Володькой разговорах: если что-то от Перетряхина, то это глупо, потому что только тогда на лице Дятла просыпается интерес, глаза смотрят с устойчивым вниманием, обнажая какую-то отдаленную, но твердокаменную цель. Я ничего не могу с собой поделать — я говорю то, что он от меня ждет. Я

говорю так из чувства товарищества: ведь мы одного поколения, мне восемнадцать, ему двадцать шесть, — одни и те же вещи должны вызывать у нас примерно одинаковую реакцию.

И все же Володька не так уж редко дает мне понять, что он старший, и если мы оба свободны и поступает ЦУ — само собой разумеется, кому идти. Но он настаивает на том, что мы вместе должны сопротивляться чудачествам Перетряхина, которому пора на пенсию, и что его прихоти нам вот где — можно постучать кулаком по затылку или коротким энергичным жестом поднести к своему горлу твердую ладонь с оттопыренным большим пальцем. Только я обычно конфликтую с Перетряхиным один на один, а Дятел предпочитает компанию.

Не проходит после его ухода и пяти минут, как в нашу каморку бешено врывается Перетряхин:

— Сергей, пойдем!

— В чем дело? — холодно осведомляюсь я.

— Пойдем, пойдем! — как всегда с бесцеремонной суматошностью подергивает он меня. — А то эта дубина, понимаешь ли, как...

На сцене Дятел что-то шумно объясняет Саше Костовому, монтировщику. Одной рукой он упирается в свой рыхлый, заплывающий жирком бок, другой энергично встряхивает между собой и Сашей. Саша, мужчина лет тридцати пяти, курчавый и смуглый. На лице его живут темные насмешливые глаза, которые одинаково насмешливы, что бы он ни делал. Завидев нас, он демонстративно отходит в сторону, как бы превращаясь из участника мизансцены в зрителя.

— Вот! — указывает мне Перетряхин, игнорируя свидетелей. — Надо поставить эту лестницу и сменить лампы. Понял?

Дятел, сложив руки, с ядовитой улыбкой смотрит на нас издали и вдруг кричит Перетряхину:

— Ты что мальчишку провоцируешь?! — «Ты» — нашему старику — это для меня открытие. — Чтобы он надорвался? Я сейчас пойду в дирекцию и доложу, как у нас соблюдаются правила техбезопасности!

А что мне-то теперь делать? Я смотрю на лестницу. Она велика. Я, конечно, приподыму ее, даже смогу проволоочь до стенки, на которой мрачным черным пятном торчит перегоревшая лампа. Но как ее поставить?

— Давай, давай, — не слушая, тыкает меня Перетряхин.

— Я не буду, — говорю я, уставясь в пол.

— Что?! — подскакивает Перетряхин. — Может, мне вам показать?

— Покажи, а мы посмотрим, — наглеет Володька.

— Сосунки, — рычит Перетряхин, нагибаясь над лестницей. В следующий миг он отрывает ее от пола, принимая на себя, — и вот ее верхний конец уже косо плывет в воздухе, а Перетряхин, подставив плечо — руки вразброс держат перекладины, — танцует под ней. Затем в момент, когда верхний конец застывает в воздухе, словно раздумывая, в какую сторону валиться, Перетряхин делает шаг вперед и, приседая, мелкими тряскими шажками добегают до стенки. Верхний конец царапает по штукатурке. Все.

— Лезьте! Пожалуйста! — оборачивается он к Володьке, склоняясь как перед открытой дверцей кареты. — Лезьте!

— Тебе только в цирке работать, — огрызается Владимир.

— А я говорю — лезь и меняй лампу!

— Хорошо, — говорит Дятел, направляясь к лестнице и поправляя берет (на работе он ходит в берете), — только имей в виду, что дирекция будет поставлена в известность.

— Беги звони! — уходя, гневно поблескивает очками Перетряхин. — Только не забывай, что пока я — твой начальник!

И все-таки Перетряхин испугался: примерно через час он вызывает меня к себе. За гонца — Любовь Васильевна. Дятел — он-таки сбегал, куда обещал, — дружески хлопает меня по плечу:

— Потом расскажешь.

Я киваю. Я иду, пряча саркастическую улыбку, я политик и дипломат, мне предстоит тонкая игра.

Перетряхин сидит в своем «кабинете» — такой же, как у нас каморке, только вдвое большей. Он сидит за письменным столом, у него усталый вид, он похож на старого воробья.

— Ну что, Сергей? — поднимает он голову. — Как будем работать?

На столе в стакане белая гвоздика, похожая на балетную пачку.

Помолчав, я спрашиваю:

— В каком смысле?

Перетряхин еще внимательнее всматривается в меня и говорит без видимой связи с предыдущим:

— Вот ведь, понимаешь, завелся у нас хулиган, не знаю, как быть. А ты у него на поводу ходишь.

— Я хожу сам по себе! — вспыхиваю я.

— Да подожди ты, не кипятись. Ты молод еще, а этот разгильдяй пользуется. — Он замолкает, словно решая, как повернуть разговор, который складывается не в его пользу. Я стою, глядя поверх него. Его каморка — я здесь впервые — поражает какой-то фантастической прибранностью. На стеллажах тут все: реостаты, электромоторы, подсветки, лампы, пистолеты, проекторы, круги электропровода разного сечения, выключатели, вилки, переходные муфты, рефлекторы, трансформаторы, кассеты светофильтров, отвертки, кусачки, тиски — каждая вещь на виду и покоится в естественной для себя позе, словно говорит: «А вот и я!»

— Что, нажужжал он в дирекции, а? — голос Перетряхина суетлив, и мне тяжело это слышать.

— Не знаю.

— Ну как не знаешь? — начинает он волноваться. — Как не знаешь? Ты же был рядом, слышал.

— Ничего я не слышал, — глухо отвечаю я. Еще один вопрос, и я развернусь и уйду.

— Ну ладно, ладно, — встает он. — Вот ведь молодежь, совсем никакой терпеливости нет. Я вот о чем хотел с тобой потолковать. Вот ты умный человек, книжки читаешь. Я сам люблю книги, но должен тебе сказать, что главное жизненное знание из них не приобретешь. Оно от дела идет, от того, как ты работаешь. Ты только начинаешь, а ведешь себя неправильно. И о жизни будешь неправильно думать. Потому что если в работе не находишь удовольствия, то и жизнь твоя бесцветная, пепельная.

— Что вы знаете про мою жизнь? — резко говорю я.

— Ничего не знаю, ничего! — успокаивающе поднимает он руки, ладонями ко мне. — Я хочу, чтобы ты одно, Сергей, понял. Ты вот, наверное, думаешь про себя: все вы тут маленьким делом занимаетесь, а я, мол, для большого создан. Ты так не думай, даже если инженером будешь, ученым каким, — не думай ни в коей мере, это ядовитое заблуждение.

Так вот где истина — он меня считает самым заурядным сачком! Где же его опыт, на что он жизнь прожил, если не видит разницы между мной и Дятлом? Я-то ведь работаю! Мне-то интересно! Дальше я его не слышу, я давлюсь тяжким комом несправедливости, я ненавижу Дятла, мне лучше уйти с работы, навсегда.

Но в этот момент Перетряхин замолкает. Он берет со стола толстую линзу и, приподняв брови и отстраняясь, будто перед носом летает мошка, изучает цветок. В черном халате, с всклокоченными остатками волос, он напоминает ученого-алхимика со старинной гравюры.

— А за сегодняшнее на меня не обижайся, — продолжает он нацеливать линзу. — Я хотел этого разгильдяя тобой пристыдить, он же здоров, как... Он же втрое тебя здоровее.

Линза снова на столе. В ней, вылезая из газетной колонки, с паучьим видом сидит буква «К». На меня вдруг находит, что первое слово, которое Перетряхин сейчас произнесет, будет начинаться, с «К».

— Камни на нем возить, — говорит он. — А тебе надо быть покрепче. — Перетряхин отодвигает стул, словно собирается померяться силой. — Ты вот говоришь: Сократ, Платон... (Когда это я ему говорил?) А забываешь, что в те времена люди уважали культуру тела не меньше твоей умственной культуры. Скажем, Олимпиада. Ты знаешь, откуда это слово пошло? — и, уловив в моих глазах готовность ответить, опережающе поднимает вверх палец: — А... Я и сейчас могу с молодыми потягаться, а когда был такой, как ты... Бывало, на пляже разденешься, пойдешь, — Перетряхин разворачивает плечи, смотрит молодцом, даже румянец появляется, — пойдешь и, понимаешь ли, грудь у тебя такая, что девушки глаза опускают.

В этот момент лицо его будто и в самом деле окрашивается девичьей застенчивостью.

— У тебя есть девушка? А ну-ка, постой, — и, сделав шаг назад, Перетряхин игриво разглядывает меня.

Возвращаюсь я от него чуть ли не бегом. «Ну артист! Ну анекдот!» — вертятся во мне два этих дурацких слова.

— Так что? — внимательно глядя на меня, спрашивает Дятел и подвигается, приглашая сесть рядом.

— Да ничего, — машу я рукой. — Ну артист! Дятел мелко смеется:

— А конкретно. О чем говорили?

— О девочках, — хихикаю я.

— Что, серьезно? — перестает смеяться Владимир.

— Абсолютно! — изнемогаю я. — Он только разденется, и все. Им глаз не отвести.

— Да брось...

— Вот те зуб!

Мне очень весело и еще как-то нехорошо. Я еще не знаю, что можно предать и ради красного словца.

...Так что же было дальше?

Трамвай возник, как корабль света. Он был пуст, деревянные сиденья отсвечивали покоем, и брезентовые петли для рук весело раскачивались вразнобой, как языки колоколов на звоннице. После безумной усталости и единственного желания приткнуться где-нибудь и уснуть, я был непонятно бодр и взвинчен. Все мне казалось исполненным какого-то кричащего смысла.

Тома спала на моем плече. Трамвай аккуратно тормозил на каждой остановке — для кого?! — и после своего грохота постояв в молчании улицы, так что я слышал, как коротко отдыхают под ним его черные натруженные железяки, двигался дальше.

Вошли городские старик и старуха, сели напротив, и, как только загремело, забухало, принялись ругаться. Они ругались ровно до остановки и, пока трамвай стоял, помалкивали с нетерпеливыми лицами. Но стоило ему снова поехать, как они разом поворачивались друг к другу, раскрывая рты. Это было смешно, но почему-то и уничительно. Словно про нас с Томой.

Когда тяжеловесный грохот опять сменился молчанием, Тома вдруг проснулась, словно во сне считала про себя остановки. Мы едва успели выскочить.

Она остановилась у своего подъезда и нерешительно посмотрела на меня.

— Ну до свидания! — беспечно сказал я.

— До свидания.

— Я пошел...

— Что ж, иди, — сказала она.

— Хм... — Я снова повернулся к ней, как бы из чувства противоречия, и выжидающе сунул руки в карманы. Кажется, только что мне что-то было сказано, но что именно? Я стоял. Наверно, у меня в тот момент был вполне идиотский вид, потому что Тома вдруг расхохоталась.

— Ты что, на улице собрался ночевать?

— Нет, — сказал я.

— Тогда что ж ты?

— А мама? — Я уже знал, что живет она с матерью. Отец их бросил.

— Что, мамы испугался? Нехорошо... — Она взяла меня за руку, как маленького, и повела по темной лестнице. Ее теплые пальцы держали мои уверенно и просто, я бы сказал — товарищески, и, помню, я ощутил тогда укор или, точнее, укол, совести за все то, что успел лихорадочно прикинуть. Я поднимался, как бы отведав одну за другой две порции разных чувств: легкое разочарование, оттого что ничего уже не будет, и благодарность (не без умиления) за то, что мне преподали урок нравственности.

В квартире мы крадучись, на цыпочках прошли мимо соседских дверей, Тома ткнулась в свою (заперто! — не к месту осенило меня) и два раза поспешно повернула в замке ключ.

— Никого нет, — сказала она, включая свет, — наверно, в ночную смену осталась.

Мне не показалось, что Тома была смущена. Я же не мог поднять на нее глаза, словно уже знал, что будет дальше, и знание это было моей виной перед ней. И еще я думал, что вот, попался-таки, и чуть не плакал от унижения и страха...

Я проснулся, как от толчка — от ощущения, что на меня смотрят. Я открыл глаза и рядом с собой увидел Тому.

— Здравствуй! — сказала она. Сказала так, будто долго ждала, когда я проснусь.

— Здравствуй, — улыбнулся в ответ я, больше всего пораженный в этот момент тем, что история продолжается, когда надобность в ней уже исчерпана до конца. Я сел, как бы очень сонный и еще плохо соображающий что к чему. Из-за этого движения одеяло сползло с ее груди, и она, охнув, стыдливо потянула его к подбородку. Эта стыдливость при том, что наши тела только что касались друг друга, показалась мне фальшивой.

Пробуждение, вставание под Томиным взглядом, натягивание брюк и прочее и прочее я тихо вынес, наверное только потому, что воспринимал как наказание за свою вину, плату за грех. Но самое ужасное — это отчетливое, как утро, как будничные голоса диктора из радиоприемника, чувство, что я не люблю Тому. То есть вчера, значит, было все равно, кого любить, значит, чувство существовало само по себе, и ему не было никакого дела до реальности...

На прощание я сунул Томе скомканную бумажку со своим телефоном — для меня это было верхом собственного благородства — и скатился по лестнице. «Так вот что это такое!» — растерянно твердил я себе на улице, пересекаясь из трамвая в метро, из метро в автобус, среди озабоченных, спешащих на работу людей. Я вглядывался в их лица, словно они могли мне помочь справиться со знанием, которое было мне не под силу.

7

В городе появились афиши — «Американский театр балета». Уверен, что в девяноста случаях из ста разговоры интеллигенции начинались теперь вопросом: «А вы идете на американский балет?» — «Вы уже были?» — «А мы еще идем». Билетов, наверное, не стало в первые же дни. Впрочем, я не знаю. Я даже не помню, какая была публика, хотя публика, конечно, была отменная — золотой фонд, движитель общества, его лучшие силы. Даже запах в фойе на этот месяц стал другой.

Я бы не удивился, если бы нам, работникам сцены, выдали на это время какую-нибудь театральную униформу, но все преобразования по сю сторону рампы касались только нашего буфета. Буфет был отменный — икра, севрюга, шампанское и ананасы. Казалось, даже на стенах и потолке играл теперь золотистый отблеск роскоши и гостеприимства, проникая до самой осветительской каморки, откуда я таскал наверх, в артистические уборные, наши загодя отлаженные светильники. Я расставлял их на узких, обтянутых черной клеенкой столах, перед зеркалами, по двое и по трое соединяя между собой, чтобы хватило тех немногих розеток, что были здесь. Светильники были разные — и новые, посвечивающие благородной латунью, и дряхлые тяжеловесы из перетряханных хранилищ. Эти я старался затянуть подальше, на самый верх, для массовки и кордебалета. Любовь Васильевна, та ставила что попало, и я тайком, чтобы не обиделась, переставлял потом все согласно одному мне понятной иерархии.

И вот они приехали. В служебном коридоре, там, где сидят вахтерши, появился новый человек, и не успел я проскочить мимо со своим обычным приветствием, как он заступил мне путь.

— Да это наш, наш! — махнули ему добрые тетеньки, но он, явно игнорируя это сообщение, потребовал пропуск. Пропуск он рассматривал очень внимательно, изучив даже заднюю корочку, словно на ней могли быть следы какой-нибудь тайнописи, а когда очередь дошла до фото, он весь преобразился. По-моему, на него нашло вдохновение. Отрываясь от снимка, он, как художник, цепко схватывал меня своим пронзительным взглядом и, прищурившись, словно сжимая силой воображения до размеров три на четыре сантиметра, переносил обратно на карточку. Потом он сразу как-то поскуцнел, словно мгновение творчества миновало, и пропустил меня с сожалением и недовольством собой.

В фойе стояли металлические ящики для костюмов. «Blue Beard»¹ — прочел я на одном из них. В яме под руководством американского дирижера репетировал наш оркестр — с пюпитрами, надеюсь, там было все в порядке, на сцене под наблюдением пожилой сухошавой дамы несколько

¹ «Синяя Борода» (англ.)

балеринок, в таких же, как у наших, теплых шерстяных чулках без носка и пятки, прокручивали фуэте. И выражение их милых, без грима как бы смытых, лиц было таким же старательным.

Осторожно, с края сцены, чтобы никому не помешать, я глянул в регуляторную, благо реечная крышка была отодвинута до отказа. Там двигалось несколько голов, одна даже в щеголеватой велосипедной шапочке с эмблемой, но перетряхинского всклоченного затылка среди них не было. Все вокруг были взбудораженно заняты, и я ощутил, что мое ничегонеделание приобретает в этой обстановке какой-то нехороший смысл. Я поежился и пошел со сцены. Навстречу мне, чуть пригнувшись под тяжелым тубусом на треноге, торопился Перетряхин. Я кивнул ему и открыл рот, чтобы впервые — это ему понравится — спросить о задании, но он как-то боком взглянул на меня — впрочем, ему, может быть, неловко поворачивать голову — и протрусил молча мимо. Следом появился Дятел. Он резво тащил какую-то желтую, незнакомую мне стремянку, и что меня удивило, так это явно написанное на лице намерение донести ее до конца, несмотря на то что на пути подвернулся я. Дятел весело подмигнул мне, будто хотел сказать: «Что, работаем?!» — и тут его сменила Любовь Васильевна. Она важно прошествовала в своем синем халатике, крепко держа обеими руками пачку светофильтров. Только минутой позднее я сообразил, что светофильтры были не наши.

Я неловко послонялся в служебном фойе, поскучал в нашей каморке, никто меня не звал, и я снова отправился на сцену, на этот раз предусмотрительно с другой стороны. Здесь я снова наскочил на Володьку. Он улыбнулся мне в том смысле, что вот, дескать, мы всё с ним встречаемся, и глаза его выразили желание продолжать путь, но я, почти как Перетряхин, ухватил его за рукав:

— Послушай, а мне-то что делать?

— Как что? — остановился Владимир. — Разве Перетряхин тебе ничего не сказал? — Слово «ничего» он произнес тише других.

— А что он должен был сказать? — удивился и почему-то встревожился я.

— Понятно... — протянул Дятел. Я стоял и смотрел на него. — Понятно, — со странным удовлетворением в голосе повторил он. — Значит, не внес в список...

— Какой список?

— Ты что, не знаешь? Вчера составляли список, кто работает на американцев. Когда какие-нибудь большие гастроли, то наших берут на договор, ну и платят, естественно. Сам понимаешь. А он, значит, тебя обошел. Ну-ну... — Уперев руки в оплывшие бока, Дятел подрагивал выставленной вперед ногой.

— Так что же мне делать? — спросил я как можно беспечно.

— А вот что. — Дятел нагнулся ко мне и зашептал возле уха, шаря глазами по сторонам: — Ты сейчас подойди к Перетряхину и скажи: так, мол, и так, почему отстраняете от работы? На каком основании? Взял же он Хрипунова.

— Кто это? — проблеял я.

— Да один, из театра. Шабашки срывает. Так и скажи — свои кадры угнетаете, а чужих берете. Когда прекратится это безобразие? Меня в регулятор не пускает! А заболит он — кто его заменит?

Дятел был прав, и я был прав. А Перетряхин нет. Но почему-то мне не хотелось говорить с ним.

— Ну что, спросил? — еще через час пробегая мимо, осведомился Дятел. Я покачал головой, и он, широко и поспешно топая, побежал дальше, осуждающе удивляясь. Весь вид его сзади говорил: «Пеняй на себя. Я для тебя сделал все что мог». Я закусил губу и двинулся к

Перетряхину в «кабинет». Дверь была закрыта. Сверху по металлической лестнице, ведущей к моему прожектору, кто-то спускался. Я поднял голову. Это был Перетряхин.

— Ты что, Сергей? — спросил он строго. Я не мог смотреть на него. В горле было больно и надсадно. Я то клал руки на пояс, то опускал их, будто наскоро повторял про себя какой-нибудь гопак. Когда я заговорил, голос мой дребезжал.

— Почему я не работаю? — спросил я.

— Как не работаешь? — сверкнул на меня очками Перетряхин. — Ты что, уже все дела переделал? — Слышать его обычный назидательный тон после того, что я узнал, было невыносимо.

— Почему я не работаю для американцев?

— Ах, вон ты куда загнул... — задрал голову, чтобы рассмотреть меня через стеклышки очков, протянул Перетряхин, но лицо его стало растерянным.

— Я не загнул, — продолжал я, — я-то не загнул. И подачки мне ваши не нужны. Я только одно понимаю теперь — где деньги, там подлость. — Я сказал это, не глядя на него, и повернулся, чтобы уйти.

— Постой, Сергей! — раздался сзади его глухой голос.

— Что мне стоять с вами, я все сказал.

— Постой, слышишь?! — повторил он. — Ты сказал? Хорошо! Отлично! Теперь я скажу. Могу я сказать?

Я заколебался, и что-то меня удержало. Может, я нуждался в его оправдании? Не знаю.

— Ты сколько здесь работаешь — месяц, два? Я молчал.

— Два месяца. А я тридцать лет. А теперь спроси меня, что я сейчас чувствую. Я чувствую волнение. Я волнуюсь. Чтобы все шло правильно, чинно, благородно. Ты понимаешь, что значит помогать им? Они, ты не думай, они же следят, как мы работаем, сравнивают. А ну ты им, понимаешь ли, свет не тот дашь, танец испортишь. Тут, милый мой, не только искусством, тут политикой пахнет. Мы, понимаешь ли, связи налаживаем, контакты, а ты возьмешь и нафордыбачишь, как давеча. А Дятел — я бы его на пушечный выстрел не подпускал, скандалиста этого... А ты — деньги, подлость... Вот и подумай, где что. Только сам, своей головой.

«Что он мне доказал? — думал я. — Что дважды два четыре, а не пять с половиной? Или же теперь он всегда так будет говорить со мной, будто решил больше не принимать меня всерьез?»

В последующие дни дел у меня так и не прибавилось. По-прежнему я должен был приходить к четверем, но если б пришел к шести, никто бы этого не заметил. Даже свет в зрительских фойе и тот включали сами контролерши, будто приняли повышенные сообразительности. А дежурную лампу на шесте выносил теперь в зал Дятел. За прожектором я его что-то не видел.

Вообще световая партитура американцев была довольно сложной — они привезли три программы, в каждой по четыре балета — наверное, поэтому Перетряхина и Хрипунова — потом мне сказали, что напарник — ас света, — я видел даже не каждый день. Хрипунов мне казался очень мрачным, всегда сердитым человеком. Меня он вообще не замечал. Делал он все молча, все сам, с каким-то обвиняющим ожесточением, и не терпел двух мнений. Сталкивались они с Перетряхиным постоянно. «Нашла коса на камень», — ворчала Любовь Васильевна. И в самом деле, они были схожи характерами — два деспота, страдающих из-за своей любви к делу. «Ну, подожди, Петя, — незнакомым мне насильственно мягким голосом пытался урезонить его Перетряхин, прыгая вокруг и вытирая испарину. — Давай-ка лучше обсудим». Почему все-таки Перетряхин приглашал именно его?

Ни одного балета я толком не видел. В зал — теперь было строго — со сцены никого не пускали, и смотрел я из-за кулис, куда набивалось столько народу, что нас немедленно разгоняли по рабочим местам. Хотел бы я знать, где мое рабочее место.

Более или менее мне удалось посмотреть «Тему с вариациями» Чайковского в постановке Баланчина. Хореография была нарядной, буквальная и какой-то деревянной, как всякое бессюжетное действие, но солисты — классика, по-моему, давно уже держится только на солистах — они выжали из зала все, что возможно. Это было на открытии гастролей, за кулисами стоял, наверное, весь театр, и, слыша тяжелый грохот зала, все улыбались и ревниво оглядывались, призывая в свидетели.

Утром репетиция, занятия у станка. Полотнища декораций втянуты наверх и смутно темнеют в высоте, как давно отслужившие свое музейные знамена, холодноватые звуки рояля, французский язык, в котором уже где-то слышанные «плие», «фуэте», «па де баск». Пахнет новыми декорациями, новыми духами — они как тревожные голоса, — новым дымом сигарет, холодом из «карманов» и бразильским кофе из буфетной кофеварки. Из осветителей только я и американец в велосипедной шапочке, высовывающейся из регулятора. Он включает два фонаря с выносного софита, чтобы на сцене было повеселей — ему аплодируют, восклицая не нашими междометиями. С ним мы не общаемся, хотя я по учебнику для десятого класса на всякий случай освежил свои знания английского. Знай он, что у меня в аттестате «пятерка», может, и задал бы вопрос...

Утром репетиция, вечером спектакль. На спектакль я могу приходить, могу нет. Раз не пришел и весь вечер промаялся, как будто все ушли без меня на праздник. И вот я снова за кулисами, пока не прогонит какой-нибудь бдительный чин. Роскошествует музыка, на сцене стук многих копытцев, согласованный, но все-таки дробный и не такой уж легкий. Трудный стук. Почти вся женская группа кордебалета на сцене. Рука — рука, нога — нога, поворот, улыбка, рука — рука, нога — нога, и на пуанты, и поворот. Повизгивают обтянутые розовым атласом каменно твердые, хотя и отбитые деревянным молотком носки балетных туфель — касков, застыли на лицах улыбки, пахнет духами, потом и пудрой, глаза смотрят, но не видят, лица все испуганней — с такими прислушиваются к боли внутри.

Все они разные — это только из зала как одна. Слева в последнем ряду — нас разделяет лишь метр мягкой кулисы — выдыхается толстушка. Даже когда она поднимается на носки, она остается слишком толстой для балерины. С чего ее взяли да сюда привезли? Может, папа миллионер и это для нее хобби? Так я думаю, глядя, как она выбивается из сил. Ее пышные формы колеблются вверх-вниз, грудь рвется на свободу из тесного лифчика, и в группке балерин, стоящих рядом со мной, раздается смешок ужаса. Все смотрят оцепенев — мелькает алый сосок, и толстушка, охнув, растерянно прижимает к нему руку.

Репетицию переносят на день. Снова я один, я сижу в первом ряду партера, с краю, куда свет не доходит. На сцене у станка снова повторяют «школу», смиренно оглядываясь на прямую, как палка, женщину с седыми волосами. «Плие», «релеве», «турне»... Ее сменяет лысый мужчина в бежевой футболке, обтягивающей его полный, но еще живой торс. Постепенно лица танцоров бледнеют, по ним струится пот, запавшие щеки и глаза, их неподвижный блеск, руки над головой — под мышками на трико темные круги пота, темные дорожки соединяют у мужчин грудь и живот, они все шире... Конец. До шести вечера все свободны. Ехать домой не имеет смысла — я остаюсь.

В служебном фойе выключается свет, кофеварка больше не шипит, не брызжет, не источает тепла — пусто, тихо. Я сижу в фойе, где остывающий запах кофе. Я один. Кто-то, покашливая, спускается сверху, из артистических уборных, я поворачиваю голову — это толстушка. В черном трико, с большим махровым полотенцем через плечо, волосы подняты и закручены узлом на затылке, она устало оглядывается на меня и идет в дальний конец фойе. Я слышу скрип дивана — там и здесь у нас стоят диваны, обитые черным дерматином. Наверно, она легла. Щелкает зажигалка, и, родившись от маленькой желтой вспышки, в полутьме остается алый кончик сигареты. Он описывает полукруг, разгорается у губ, освещая нежный овал подбородка, делает

полукруг в сторону и замирает, тлея на отлете руки. Тишина стягивает горло, требуя каких-то слов, и, пока я собираю их, сердце бухает горячо и часто. Мне хочется подойти, пожалеть ее, погладить по волосам.

— Виноват, вы не устали? — отправляю я английскую фразу через всю длину полутемного прохода.

— Да, пожалуй. — И кажется чудом, что этот мой набор звуков вызвал к жизни такой осмысленный ответ.

— Я думаю, что балет очень трудная вещь, — продолжаю я.

— Я тоже, — отвечает мне голос.

Больше я ничего не могу из себя выдавить, пауза растет, снова молча разгорается алый кончик сигареты, словно указывая путь.

— Очень жаль, что я плохо говорю по-русски, — слышу я самого себя, одновременно пытаюсь понять, при чем тут русский язык, и всполошно поправляюсь: — Sorry ², по-английски.

— Почему, вы хорошо говорите, — отзывается она из темного угла.

Я продолжаю сидеть, она продолжает курить, извещая о себе алым огоньком. «Ну встань же! — говорю я себе. — Встань и подойди!» — но горло мое наглухо перехвачено тишиной.

И все-таки я, видно, люблю балет только по привычке, по детской памяти, которая навсегда оставляет самые необъяснимые привязанности. Логика в них нет. Может, было бы лучше, если бы я многое и многое впервые открыл уже взрослым человеком. Вряд ли даже можно представить, сколько самых превратных понятий накопилось за тот долгий период безоговорочного приятия мира, период, именуемый детством. Но с этим ничего не поделаешь — теперь твои заблуждения выдают за твою индивидуальность. Так вот вышло, что я люблю балет. Хотя это не так. В балете, меня занимает только человеческое тело, преодолевающее самое себя. Что же касается игры, то, наверное, надо все-таки полагаться не на выражение лица, а на выразительность движения. Но для любовного поединка, который, в сущности, кульминация любого балета, классика чересчур целомудренна.

Солисты балета... Где-то там, у служебного входа, после спектакля собираются истинные балетоманы, подстерегая их и бросаясь навстречу с протянутыми вперед руками. В одной — программа концерта, в другой — авторучка. Истинный балетоман должен непременно собирать автографы. Автографы мне ни к чему, но искушение слишком велико: ведь они то и дело проходят мимо, ИМЕНА. Фраза на английском у меня готова, я ее повторяю про себя, доводя до беглости родной речи: «Пожалуйста, не можете ли вы мне поставить свой автограф?» О, им это ничего не стоит, с удовольствием, с большим удовольствием — где? Я протягиваю солидную иллюстрированную программу и даю только что заряженную авторучку. Так в ней появляются росписи — Мария Толчиф, Джон Криза, Игорь Юскевич — он отвечает мне на чистейшем русском и расписывается сразу на двух языках.

И все-таки ценность автографа, очевидно, прямо пропорциональна трудности, с которой он добыт. Я хожу с этими автографами по фойе, не ощущая себя ни богаче, ни счастливей, даже наоборот — переживая какую-то потерю, но уже не остановиться, и я обращаюсь к Эрику Бруну. Пожалуй, он мне нравится больше других танцовщиков. На сцене он высок и строен и идеально выгнут, в фойе же мал ростом и даже хрупок, словно впечатление мощи и величия зависит только от количества лучей, направленных на него. Или же тут дело в пропорциях, в совершенстве формы?

² Виноват.

Я протягиваю ему авторучку с тайным желанием, чтобы он отказался, но он старательно, как банковский служащий, склоняется над страницей. Я смотрю сверху на его аккуратный датский пробор. Теперь остается только Люп Серрано, его постоянная партнерша, латиноамериканка, маленькая женщина с замкнуто-надменным лицом и смуглой веснушчатой кожей, особенно веснушчатой после репетиций, когда она устало — руки на поясе — поднимается к себе, выставив вперед свои острые локти. Она расписывается одним махом и, возвращая мне программу и авторучку, коротко улыбается. В первое мгновение я не понимаю, что это была улыбка — просто открылись и закрылись два ослепительных ряда зубов — а затем начинаю чувствовать, что уязвлен. Но на что, собственно говоря, я рассчитывал? Странная эта штука — автограф.

И вспоминается другое, когда в первый выход под музыку Минкуса из «Дон Кихота» что-то не получилось у нее, «железной Люп». Оркестр продолжал тему па-де-де, а они непоправимо сбились, и я видел, как она еще зачем-то вращалась с замороженным лицом между рук растерянного Вруна под разоблачающе-стыдливое оживление зала. Оркестр вдруг замер на полупразе, потому что в зале уже начинались великодушные хлопки. Но они вышли снова, два маленьких человека, и на их отчаянную решимость нельзя было поднять глаз. Когда Врун исполнял свои мощные зависающие прыжки во вращении, а она крутила свои тридцать два фуэте, то в быющем из-за кулис свете от них во все стороны летели, окропляя сцену, сверкающие капли пота...

В один из дней меня и Дятла затащили к себе на самый верх танцовщики кордебалета, пролетарии сцены. Мы курили американские сигареты, стояли в обнимку под стрекочущей кинокамерой, и я никак не мог справиться с выражением лица, загипнотизированный ее глазком. Но напоследок я превзошел самого себя, важно сказав по-английски: «Мы знаем, что все простые люди Америки не хотят войны».

«Но мы очень, очень простые», — ответило мне сразу несколько голосов.

«Прикидываются»... — не разжимая губ, сказал Володька, когда мы с ним спускались.

8

После отъезда гостей в доме пусто, хотя до их появления никакой пустоты не было. Не то чтоб скучаешь, но чего-то явственно жаль. Наверное, мы скучаем по себе, какими уже не будем, потому что этого больше не требуется. Гости вынуждают отказываться от многих привычек, и, как это ни трудно, без них мы становимся лучше и добрее.

Размышляя над тем, что такое душа, я однажды пришел к выводу, что это то, что направлено из нас на других людей. В каком-то смысле душа наверняка материальна — химия? биотоки? Но почему она так упорно преодолевает свою материю? Ведь именно душа жертвует телом, в которое помещена, подставляет его под удар.

Эта мысль пришла мне в голову по пути на работу, и я поделился ею с Перетряхиным. Мы стояли с ним в пустом зрительном фойе у щита с выключателями — в одном из них сгорели контакты, и Перетряхин заменял, а поскольку пришлось отвинтить мраморный щит, то мне выпало его поддерживать.

Мысль Перетряхина задела.

— Так ты что, Сергей, значит, думаешь, что душа — враг телу? Нет, тут надо по-другому сказать. Душа — это учитель тела. Понял? Она приучает его к благородству. Вот взять нашу земную материю — как она развивалась из всяких там пузырьков-молекул. Сначала был только кисель. Но материя развивалась — значит, приобретала понятие о себе самой. Когда у нее появилось понятие, появился и образ — рыбы, ящеры всякие. Ты следишь за моей мыслью? Какой себя материя понимает, такой у нее и внешний вид. Потому что они и страшные были, звери эти, что сознание у них было страшное. А теперь бери человека.

— И что, — прервал я его, — скажете, что у человека все прекрасно? Откуда ж прекрасно, если он готов сам себя и все вокруг уничтожить?

— Кто готов, ты, что ли?

— Я-то нет.

— Я, что ли? Я хмыкнул.

— То-то же, — сказал Перетряхин, — а то как заладят— человек то, человек се... Вот ты — человек, на себя и посмотри, за себя ответь. Ты прав в одном — материя, она и подлой может быть, жестокой, беспощадной. Но не затем она на земле столько миллиардов лет развивалась, чтобы себя теперь погубить. Нет, душу-то она и придумала себе во спасение, вырастила в себе. Вот, казалось бы, наше дело постороннее, осветительское, а я скажу, что и здесь вроде как своя душа есть. Фонарь без света — как человек без души. Только пылью обрастает. А ты оботри, включи, наведи правильно да слушай мои указания, каким фильтром пользоваться, и все будет чинно-благородно. На что посветишь, то и оживет, душевным станет.

Перетряхинская душа обитает в регуляторной. Туда он старается поменьше пускать. Зовет только в особо торжественных случаях. Сам регулятор состоит из трех мощных валов, расположенных друг под другом, как круглые батареи парового отопления. На каждом вале по пятьдесят рукояток, натягивающих тросики, которые бегут к реостатам и трансформаторам. Это затемнители. Они-то и регулируют все эволюции света. Благодаря им регуляторная похожа на районную подстанцию, уместившуюся в подвале, откуда скрыто, по стенам и полу, тянутся к своим лампам пучки линий. Но здесь это все наглядно, без оградительных щитов, кабин и будок, и производит на новичка сильное впечатление. Реостаты и трансформаторы гудят едва слышным, как бы сдерживаемым гудом и, кажется, в любой момент готовы цапнуть за руку или шарахнуть в висок какой-нибудь шаровой молнией. Спрятанный под землей регулятор ворочает в себе разряды поднебесья.

Примерно раз в месяц Перетряхин переживает потоп. Уж не знаю зачем, но есть в дальнем углу регулятора квадратная колодезобразная дыра, наполненная водой. На ней, чуть покачиваясь, дремлет чуткий поплавок выключателя. Стоит воде подняться из этой дыры на аварийную высоту, как поплавок замыкает цепь и принимается за дело насос. Вот этот самый насос раз в месяц почему-то не включается, и тогда регулятор заливает. Хорошо, что все силовые линии расположены довольно высоко, а то бы в воде возникло электрическое поле и тогда б... Что бы тогда было, я плохо себе представляю. Но регулятор заливает всегда одинаково — немногим выше щиколотки. Это, конечно, ЧП, 505, однако Перетряхин не подает нам никаких сигналов — он спасается в одиночку. Это означает два часа непрерывного махания ведрами и еще полчаса — шваброй. До сцены через регуляторную щель доносятся плюхание воды, скрежет оцинкованного железа по цементу, порывкивание исправленного насоса, такое усердное, будто усердием можно замять свою вину; сейчас Перетряхину лучше не мешать, и сколько ни кричи, наклонившись над щелью, — не отзовется.

Штаны его закатаны до колен, обнажая белые сильные икры, неизменный пиджачок из ткани «букле» брошен на лесенке; под синей, застегнутой на все пуговицы рубашкой, уже облепившей лопатки и плечи, ходят, бугрятся мышцы. Старчески некрепкий запах пота — мне кажется, так пахло бы в келье; лицо Перетряхина порозовело, румянец на щеках, на плохо выбритом подбородке, крапины пота на тонкой прозрачной коже лба с просвечивающими веточками вен,— и весь он, молодой старик или старый молодец, прямо светится удалью и всенипочемством, а когда поднимет голову (очки сняты), глаза его неприлично молодые.

— Что же вы насос не почините? — спрашиваю, когда он, еще не остывший, выносит на сцену ведро и швабру. — Давайте вместе посмотрим. — Перетряхина даже передергивает от намека, что я могу что-то лучше его.

— Вы, молодой человек, чем сейчас занимаетесь? — говорит он, удлиняя этим «вы» укоротившуюся было дистанцию между нами. — Вот и занимайтесь...

Почему он мирился с этим бездонным колодцем, для меня так и осталось загадкой. Хотя, может быть... может быть, он нарочно оставлял судьбе две-три возможности выказать себя, чтобы тут же продемонстрировать ей, насколько бесплодны все ее попытки его захлестнуть.

Между тем наступила зима. Утро было еще сухим, серо-сизым, насупленным, подобранным под себя лапы, — стучащие деревья, холод на остановках, хлесткие пыльные улицы, которые не полить из-за ночных заморозков, а днем вышел — бело. Погода размякла, тротуары зачавкали под ногами, колеса покатались мокренько, жужжаще. Я свернул в ближайший садик. Белые аллеи насквозь протоптаны рыжими следами, колюче торчит из-под снега полегшая в разные стороны трава, в кустах на пустых семенных коробочках снежные бомбошки. Я сидел в тишине, глядя за садовую решетку, где неся в обе стороны мокрый глянцевитый проспект. Ему было не до зимы.

Под Новый год у всех у нас прибавилось работы. На нашей сцене для детей пошла «Зимняя сказка». Точного названия я не помню, да это и неважно, потому что у всех новогодних сказок для детей, разыгрываемых взрослыми, сюжет содержал один и тот же конфликт. Дед Мороз и Снегурочка несут детям новогоднюю елку и подарки, а волк и лиса строят на их пути всяческие козни. Снегурочке и Деду Морозу помогает заяц — ему-то и достается за всех. Но все кончается хорошо. Только вот в последний момент на нарядной елке почему-то не зажигаются огни, и тогда разгоряченная Снегурочка поворачивается к залу. «Ребята! Давайте вместе попросим! — говорит она невыносимо звонким и радостным голосом. — Раз, два, три — елочка, гори!» (или «зажгись», в зависимости от поэтического чутья исполнителя).

С этой елкой у нас было больше всего возни. Весь день в правом «кармане», где ее бросили, стоял запах оттаявшей хвои, и каждый, кто ни проходил, тянул носом и улыбался: «Новый год». Запах хвои и мандаринов, их держали за окном, между рамами, матово-серебристый узор мороза на стекле...

Вечером Перетряхин отпустил нас до десяти, чтобы затем (только Любочку он не трогал) мы остались в ночную смену, но к нашему приходу елку уже установили на подвижной платформе. Тогда-то из-за нее между главным машинистом сцены Никифором Степановичем Грибановым и главным осветителем Александром Александровичем Перетряхиным и произошел конфликт такой силы, что, случись рядом анонимный автор «Зимней сказки», он наверняка внес бы в пьесу несколько свежих драматургических ударов. Как, например, Перетряхин-волк пытается влезть на платформу, чтобы завалить десятиметровую лесную красавицу, а Никифор Степанович заслоняет ее своим животом, как если бы он был Дедом Морозом. А суть была в том, что сначала елку полагалось увешать гирляндами разноцветных ламп, «проверив включением», а уж только потом поднимать вверх и устанавливать. За гирлянды отвечали, естественно, мы, осветители. Но веселая команда Никифора Степановича не стала ждать, пока мы изволим явиться, ей хотелось домой, а на ночь оставаться рыжих нет, — вот они, нацепив только игрушки, и взметнули ее, закрепив на растяжках, которые теперь хоть топором руби.

— А вы это просто! — хохмил Саша Костовой, внимательно обводя всех черными блестящими глазами. — Вы шефа к штанкете привяжите и спускайте помаленьку. Прямо на макушку, вместо звезды. А лампочки пусть в руках держит.

Хохма хохмой, но, надо признать, он и подал нам идею. Уже в полночь, наладив гирлянды, мы подкатали елку к переходным мосткам — верхушка ее была даже выше перил, — Перетряхин для верности прихватил ее к ним куском трехжильного провода и, раздвинув в стороны еловые лапы, прыгнул на ствол. На поясе у него, как бокалы за новогодним столом, зачокались привязанные лампочки. Предполагалось, что полезу я, но он сказал, что, если свалится сам, то, слава богу, спрашивать будет не с кого. Он ворочался там, как медведь, хрустя и не без злорадства подминая под себя картонную бутафорию, елку встряхивало, будто ее брали за горло, а мы бежали понизу, ловя концы гирлянд, чтобы опоясать разлапистые тугие ветви.

Потом еще кучу времени отняла новая аппаратура — снег, приборы ультрафиолетового облучения для светящихся декораций леса, фейерверк, и разошлись мы после трех ночи. Дятел

жил в этом же районе, а Перетряхин и вовсе на соседней улице, только мне было бесполезно возвращаться, — мосты разведены.

Сначала я думал лечь в служебном фойе, на диване, но откуда-то дуло, да и неловко было, оттого что кто-нибудь может прийти. Тогда я залез в ложу, составил вместе стулья, обитые теплым бархатом, и лег на них — строго, как в гроб. Вокруг было темно — уходя, Перетряхин почему-то вырубил даже нашу дежурку, и было слышно, как, чуть подвывая, не спит в регуляторной насос. Но в ложе благодаря занавесям, обивке стояла такая плотная тишина, что я вскоре проснулся от собственного дыхания. Я проснулся, похолодев от совершенно четкого ощущения, что рядом кто-то есть и дышит. И самое неприятное — это было мгновение, когда я, сисясь, никак не мог раскрыть глаза...

— К черту! — буркнул я, отталкивая пятками стул и грохотом его утверждаясь в собственных правах. — Эта мышиная нора не для нас. — Мне нужен был мой голос. И если кто и стоял еще тут, в темноте, затаившись, то я плевал. Никого, конечно, не было, но я перелезал через барьер с видом более независимым, чем требовалось.

Наверное, спокойней всего было бы забраться на галерку, но это было слишком далеко. Встав на спинку кресла, я перелез из амфитеатра в бельэтаж и пошел к своему прожектору. Первый ряд здесь не имел отдельных сидений, был широк, и я, дойдя до тупичка, лег головой к занавесу, лицом к залу. Зала не было видно, но заполнявшая его чернота словно лепилась вдоль его обводов, и взгляд погружался в нее далеко и свободно. Глубокое пространство, растянутое передо мной, как небесный свод, прочерчивали по трем ярусам красные фонарики «выходов». Это был как бы фотоснимок с долгой выдержкой, на котором, мигая красным светом, заходил на посадку ночной самолет, сделав в невидимом небе один под другим три круга...

Я засыпал спокойно и легко и лишь однажды проснулся, заслышав быстро надвигающийся шум ночного поезда. Это была уборщица, которая вела навстречу мне влажной тряпкой по барьеру. Я неловко приподнялся. «Спите, спите», — сказала она и тотчас повернула обратно, унося шум.

Не с той ли ночи мне стал сниться этот зал?

9

С лыжами на плече я пересек нашу улицу, рыжую от песка, перемешанного с мокрым, разъезженным снегом, и направился к заливу. Дул сырой западный ветер, и сбросившие снег — он шел всю ночь — деревья устало поводили ветвями. Я закрепил ботинки и, гремя по ледяной вспученной у берега корке, съехал вниз. Здесь было видимо-невидимо лыжных следов, но вскоре они сжались в одну лыжню, словно утром был дан массовый старт с финишем где-нибудь в Кронштадте, мне же было недалеко. Позади красно-белые петровские башенки, и дальше вдоль берега, где городская свалка, и, заворачивая от него влево, — туда, где на хмурой белой равнине темнеет знакомая мне будка.

Будку привезли не сегодня. С подветренной стороны ее овальная крыша подросла и вытянулась козырьком, с которого проклюнулись сосульки. Снег вокруг был выметен, и полозья, на которых она стояла, готовы были хоть сейчас в путь. Я обколотил облипшие снегом лыжи, рассчитывая, что Генка услышит, но никто не появлялся, и я постучал. Генка тотчас распахнул дверь. Был он в толстом с высоким воротником свитере, в пузырящихся на коленях брюках из палаточной ткани, которые многим из нас заменяли в ту пору джинсы. Он стоял, а за ним что-то пиликало на все голоса, будто он был продавцом птиц.

— Ну, входи, — улыбаясь, сказал он. Я шагнул внутрь, и пружина, вздохнув, потянула за мной дверь. Здесь было тепло и славно. По стенам лепились шкафы блочной радиоаппаратуры, на разных ее этажах, как красные и желтые попугайчики, прыгали, болбоча, огоньки. На столе лежала книга, на топчане ватник, пружины раскаленной спирали жарко растягивались в зеркальном рефлекторе, и впервые я подумал, какая у меня все-таки неуютная и громоздкая специальность.

— Что читаешь? — повернул я книгу обложкой вверх.— А, Гёте, Иоганн Вольфганг... «Последний из гениев, почивших в олимпийском спокойствии духа»,— чуть не добавил я, но сдержался, зная, что Генка не прощает глубокомысленных банальностей.

— Читал Вертера? — спросил он.

— Нет еще, — покачал я головой, будто эта книга уже лежала в кармане моего пальто.

— История молодого эгоиста, — продолжал Генка, продувая ноздри, как бы освобождаясь от накопившегося осуждения, — который даже в любви был занят только самим собой. Разве сравнить его с Гамлетом? Гамлет рядом с ним — это гений поступка.

Я ревниво поднял толстую книгу, страницы которой побежали с легким ветерком, и, наткнувшись на две жирные карандашные линии, прочел отмеченное: «Только вот что, друг мой! На свете редко приходится решать, либо — да, либо — нет! Чувства и поступки также многообразны, как разновидности носов между орлиным и вздернутым. Поэтому не сердись, если я, признав все твои доводы, тем не менее попытаюсь найти лазейку между „да" и „нет"».

— Это о нем? — спросил я, поднося книгу к Генкиному лицу.

— Вот именно, — внимательно заглянув, сказал он.— И еще кое о ком.

— О ком же? — внутренне вздрогнул я, подумав, что он обо мне.

— О всех нас, — глухо сказал он.

— Ты поэтому меня позвал?

— В общем, нет, но я хотел бы...

— Ну, слушаю тебя... — с веселым безразличием сказал я и полез за сигаретами, которых у меня не было. Генка протянул пачку, и я закурил, выдохнув перед собой облачко дыма, словно намеревался укрыться за ним.

— Я, конечно, понимаю, это не мое дело, и ты можешь не отвечать...— замаялся Генка,— но я знаю Тому уже два года и...

— Ах, так это она! Так я и думал! — воскликнул я, сел и закинул ногу на ногу. — Так что тебя, собственно говоря, интересует?

Генка поморщился и посмотрел на меня укоризненно:

— Меня интересуешь ты.

— В каком смысле? — По-моему, я начал медленно краснеть. И злиться. Кто он такой, чтобы устраивать мне экзамен?

Генка стоял вполоборота ко мне и крутил томик Гёте. Твердый корешок постукивал по столу.

— Видишь ли, мне не нравится, когда о моем друге говорят, что он... ну, в общем, говорят плохо.

— Так... — процедил я. — Все-таки хотелось бы поконкретней.

Генка бросил книгу:

— Мы с ней поссорились. Я ей сказал, чтоб замолчала...

— Ну, спасибо, — сказал я нестати задрожавшим голосом. — Только, может быть, тебе лучше помириться?

— Да брось ты, слышь? — сказал Генка дружелюбно. — Я ведь ничего не знаю, что там у вас.

— У нас ничего, — сказал я.

— Так что ж она тогда... — усмехнулся он.

— Сейчас ничего, — торжественно поправился я, — а было, если хочешь знать, все.

Кажется, Генка этого не ожидал. Он быстро взглянул на меня, и взгляд у него был удивленный, испуганный и какой-то мучающийся, перетрахинский взгляд.

— Ну вот, видишь... — бесцветно сказал он.

— Но послушай! — вспыхнул я. — Что ты делаешь из нее какую-то жертву? Разве мы с ней не равны? Каждый отвечает за самого себя.

Он молчал.

— Черт возьми! — продолжал я, цепляясь за молчание, как за поддержку. — В конце концов, не я ее, а она меня позвала к себе.

Наверное, это было лишнее. Но Генка только открыл и закрыл рот. Мой жалкий пафос сошел на нет. Я растерянно затаился и стал протирать правый глаз, словно от дыма.

— Если, как ты говоришь, она позвала, — голос Генкин звучал глухо, — значит, поверила тебе. И потом мне казалось... — он сглотнул, словно что-то мешало ему говорить, — мне казалось, что каждый отвечает за другого. Когда ЭТО, — тут он вообще заговорил с великим трудом, — происходит между мужчиной и женщиной, они словно дают клятву.

— Да брось ты, — усмехнулся я, многоопытный и умудренный, — по современным нравам можно без всяких клятв.

— А я этому не верю! — резко повернулся он в мою сторону. — Вспомни «Доктора Фаустуса» — Адриан Леверкюн. Он пошел за падшей женщиной.

— Ну, куда загнул... — протянул я, — это все литература. И потом он гений.

Генка помолчал, подкидывая пальцами верхнюю корочку книги, и наконец невнятно сказал:

— Последнее время я думаю, что гений — это просто человек, который не уступает обстоятельствам.

В дверь кто-то заскребся с железной настойчивостью завсегдатая. Генка толкнул ее ногой. В заметно посиневшем проеме появилась долговязая фигура, вроде бы знакомая мне. Не по Генкиной ли компании? Парень как будто тоже узнал меня, но не подал вида.

— Вот, Ген, — пнул он здоровенный коловорот, валявшийся перед ним на снегу. Такие я видел только у любителей подледного лова. — Шеф прямо со склада выписал. Еще два замера надо сделать.

— Ну что, сходим? — надевая ватник, кивнул мне Генка. — Мы тут один акустический прибор испытываем, в воде. Посмотришь.

— Да нет, — сказал я, не поднимая глаз, — мне пора. В самом деле.

Ветер дул в спину, но лыжи скользили плохо. Город был прихлопнут панцирем смога. Белый снег залива синел, вытягивая из ранних сумерек чистые краски. На берегу я оглянулся. Будки отсюда не было видно, а прямо за черными башенками в пологие небо торчало золотое копьё заката. Уже с улицы я снова оглянулся в проем между крайними домами — вместо копья над горизонтом сияла целая лагуна чистого света, которую торопливо пересекали два темных облачка. От ветра, дующего в затылок, их гривы стояли дыбом.

Опять меня обвиняли, опять от меня ждали чего-то иного. Выходило, что чем старше я становлюсь, тем больше людей вокруг делают по этому поводу озабоченные лица. Чего они хотят от меня? Разве я не такой, как все, разве я сделал что-нибудь не так? Что такое все, я, впрочем, и сам представлял себе не очень-то четко, может, поэтому втайне не испытывал от этой утешительной ссылки никакого облегчения.

Тома позвонила через неделю — признаться, я не то что забыл, но не думал о ней, и все же мне было приятно. Я даже обрадовался, и по тому, как изменился ее голос — от обдуманно спокойного, почти скучного, к растерянному-радостному, я понял, что все это для нее непросто, и на мгновение спохватился: стоит ли? «Стоит!» — уверенно ответил кто-то за меня.

Вечером мы встретились — для меня было сюрпризом, что Тома красивее, чем я ее запомнил, — и пошли на танцы. Танцы были у нас же во Дворце, и я себя чувствовал хозяином положения. Здесь играл лучший в городе джаз-оркестр, и публика была ему под стать. Руководил оркестром маленький, но с необыкновенным достоинством державшийся человек. На губах его, чуть вытянутых вперед, будто музыка доставляла ему гастрономическое удовольствие, держалась победительная улыбочка. Он делал почти незаметные движения правой рукой, будто подправлял кистью законченное полотно, и чудо заключалось в том, что при малом его жесте оркестр громыхал, как товарный состав по железнодорожному полотну.

Музыканты играли, как бы жуя мелодию — это был свинг! — тема то и дело взрывалась с треском, эхо ее прокатывалось по барабанам, затем вставал саксофонист и из своего серебристого инструмента, похожего на морского конька, начинал выковыривать сердитые и грустные звуки. От этой музыки каменели скулы, спина подергивалась мурашками — было в ней нечто воинственное, мужеское...

Может, поэтому я опять что-то перепутал, приняв одно за другое, и был почти что счастлив, когда, ловя такси, мы стояли на пустынном ночном проспекте, шелестящем оттепелью, в которой отражались витрины и неоновые буквы. Мы отправлялись к Томе. На перекрестке мигал светофор, переключенный к ночи на желтый свет, так что можно было мчаться без остановок до самого далека, где над белыми натающими крышами промигивалась сквозь облака резкая северная звезда.

Мы еще встречались — с каждым разом все короче и определенней, словно само пространство играло с нами в подсазку, сужаясь до размеров комнаты, простыни. Я понимал, что веду себя плохо («двойка» по поведению), но, придя к Томе, уже через час рвался обратно, и с этим ничего нельзя было поделать.

Так случилось и в тот последний раз. Предполагалось, что я останусь на ночь, но к одиннадцати часам я все-таки сбежал, зная, что обидел и что потом придется объясняться. Но объясняться не пришлось. Когда я возвращался, был сильнейший снегопад. Город присмирел и перешел на шепот. Доехав до Марсова поля, я выскочил из автобуса и двинулся по Халтурина к Дворцовой площади.

Что там делалось! Занавеси снега неслышно опускались одна за другой, как на сцену, а я шел по ней, точнее, вроде сдерживающего их противовеса плавно взлетал куда-то к небесным колосникам. Даже следов после меня не оставалось на этом белом бесконечном пространстве. Сам не зная зачем, я зашел в первую же телефонную будку и позвонил. Но автомат не срабатывал. Отказали и два других. Следовало бы больше не испытывать судьбу. Но я снова позвонил, впрочем не сразу. Тогда же я постоял, раздумывая, в какую сторону поехать, и поехал домой.

На моей остановке в Гавани автобус задержался дольше обычного — помогали сойти слепой старухе. Она была чуть навеселе, извинялась: «У невестки загуляла!» — и громко благодарила всех. Я нетерпеливо выскочил в заднюю дверь, автобус уехал, и мы с ней остались одни. Старуха тихо засмеялась. Я замер. Она вытянула перед собой палку, словно ощупывая воздух. Снег падал на ее склеенные веки, они шевелились. Старуха вздохнула, потопталась на месте, сказала: «Господи, хорошо-то как!» — и пошла. Я пересек улицу и пошел в ту же сторону, что и она. Старуха шла очень прямая и, плавно постукивая перед собой палкой, пела:

Ой, мороз, мороз, не морозь меня.
Не морозь меня, моего коня...

И тут я, не доходя до своего дома, свернул к заливу, где на перекрестке был телефон-автомат. Неподалеку от телефонной будки дворник, больше похожий сейчас на Деда Мороза, торопливо размахивал лопатой. Я засмеялся. От мелькания миллионов снежных теней кружилась голова. Я набрал ее номер телефона. Долго никто не подходил, и я представил, как вызывающе раздастся мой звонок в их длинном коммунальном коридоре. И все-таки подошла именно она. Оказывается, она уже спала.

— Приезжай!—заорал я в трубку. — Ты знаешь, какой снегопад?! Я словно под водой или в облаках, представляешь? А тут еще дворник с лопатой — ты бы видела, как смешно!

Она помолчала, слушая этот бред: видно, в ней боролись два чувства — любовь и самолюбие, и она не решалась ни на одно из них, понимая, что от выбора зависит многое. Она выбрала самолюбие и ошиблась. Впрочем, я уже не слушал ее.

— Знаешь, — крикнул я ей в ответ тем же радостным голосом, — я к тебе больше не приду! Никогда!

Я выскочил из будки. Дворник, бросив лопату, смотрел на меня. Постой он так минут пять и превратился бы в сугроб.

10

Каждый раз, когда я начинаю копать в своем прошлом, доискиваясь до причин того или иного поступка или просто сожалея о произошедшем, когда я пытаюсь одно отбросить как случайное, а другое выделить как главное, я неизменно прихожу к тому, что, оказывается, все, что было — даже незначительное, мало заметное, — должно было с неизбежной последовательностью произойти. И если бы не произошло или произошло как-то иначе, то я в настоящий момент был бы где-нибудь в совсем иной точке пространства, с иным итогом, это был бы не совсем я, то есть совсем не я. Это просто, как электросхема с последовательным включением — выкрутишь одну, пусть одну из тысячи, лампочку и обесточишь всю цепь...

С какого-то, теперь уже неясного момента своей работы во Дворце культуры я приобрел способность видеть Перетряхина как бы в перевернутый бинокль, издали, и там, вдалеке, рядом, свою вечно взъерошенную фигуру. Я начал глядеть на нас двоих из какого-то будущего, в котором я, став наверняка лучше и мудрее, уж разберусь, что это там было между нами, какие такие дела-разговоры, поступки-проступки. Реальный я был все тот же, с готовностью поддерживающий наскоки, которыми планомерно изводил Перетряхина Володька Дятел, потому что внешне все выглядело как раз наоборот: взбалмошный, въедливый, несносный старикашка измывается над хорошими ребятами, ни в грош не ставит, вздохнуть не дает — такой, едят его мухи, «баламут» (выражение Никифора Степановича).

Другой же я, будущий, в общем-то и тогда догадывался, что, стоит протереть стекла и навести фокус, и причины и следствия поменяются местами, и получится, что перетряхинские «закидоны» (выражение Саши Костового) не что иное, как самый оптимальный вариант действия, предложенного нам для исполнения. Но что поделаешь, если подавляющее большинство нас — и я, и Дятел, и Никифор Степанович, и Любочка, и Костовой, и вообще все те, кто любит говорить «все мы люди, все мы человеки», — что поделаешь, если подавляющее большинство требует снисхождения к собственным слабостям, даже возводит их в некий принцип, по которому, дескать, живет и действует все живое. Может, это большинство и недалеко от истины, но истина все-таки в другом. Она как раз в том оптимальном варианте, на который у нас, видимо, просто не хватает пороку. Это как в массовом забеге или заезде, где все присматривают друг за другом, а один летит вперед очертя голову.

На беду Перетряхина, мы были удручающе нормальны, и он, в общем-то, обязан был с этим считаться. Он не считался никогда. «Эгоист» — это о нем Любовь Васильевна. И пусть я предчувствовал, что Перетряхин все-таки прав, следовать за ним в настоящем означало быть

таким же «запаленным» (Дятел, наверное, хотел сказать «заполошным»), как он сам. Рядом же с Володькой мне была гарантирована полная «человеческая» поддержка. И я до того к этому привык, что искал ее почти у всех, кого знал по сцене.

Да, этот большой, рыхлый, уже оплывающий молодой человек, с легко потеющим лицом, со взглядом, в котором просвечивало не столь уже далекое дно, — сознания того, что оно мне видно, мне вполне хватало, чтобы утвердиться в собственном превосходстве, — этот человек, умеющий смотреть с мягким преданным укором, был титаном не меньше Перетряхина, потому что он, как я теперь понимаю, был апологетом человеческой слабости, ее тонким знатоком и законодателем и в отличие от Перетряхина, так сказать, поборника силы и красоты, имел в нашем «все-мы-люди-все-мы-чело-вече-ском» мире гораздо больше сторонников...

Наступило время, когда я почувствовал себя мастером света. Меня брали почти все театры, приезжающие к нам на гастроли, а выездные спектакли народного театра нашего Дворца культуры вообще обслуживал я один. Не знал я только регулятор, но в отличие от Дятла меня это меньше всего волновало. Регулятор регулировал не только свет, но в значительной степени и бытие своего хозяина. Если человек понимает, что кроме него — никто, он перестает даже болеть, он переселяется в четырехмерный мир, где время становится верным и добрым попутчиком. Перетряхин никогда не болел, не помню, чтобы он пожаловался на усталость, на недомогание. Хотя уставал ведь, наверное, и, может, ломило ноги после ледяных наводнений. Но заменить его хотя бы на день в регуляторе означало остановить его часы.

В тот вечер у нас выступал знаменитый коллектив народной песни и пляски. Свет был обычный концертный, так что я мог спокойно оставаться за кулисами, и все-таки Перетряхин нашел мне работу. Уверен, что он сам напросился — не нужно ли каких световых эффектов? Вряд ли было разумным сажать за прожектор осветителя только на одну песню — а что ж тогда остальные? — но помреж загорелся: «А что, давайте попробуем», — и Перетряхин с полегчавшим сердцем послал меня в бельэтаж.

— Как, Сергей, девушки о закате запоют, ты, значит, аккуратненько возьмешь фонарем верхний угол слева, прямо под падугой, и поведешь наискосок вниз по заднику, будто солнышко опускается. — И он очень точно изобразил, как я должен вести прожектор. — Только не дергай и не спеши, чтобы к концу песни солнце у тебя как раз за горизонт ушло. Тут уж я его подхвачу и уберу. Только запомни — наискосок, плавно, а еще лучше — по дуге. Любовался когда-нибудь на закат? А!.. — Опять это назидательное «А!», имеющее сказать, что если и любовался, то не так, как следовало, и укоряющее за неспособность к подлинному любованию. — Ты круг ровненький сделай и нацелься на угол падуги, чтобы, как я дам свет, ты бы уже не прыгал, а то, понимаешь ли, зрителей в заблуждение введешь. — Он так меня тщательно инструктировал, как будто уже предчувствовал подвох.

Перетряхин подсветил, и я настроил, как мог, направляя луч на ближайшую стенку. Круг не очень-то получился — в нем явственно проступал радужный строй спиралей да и края были, как всегда, размазаны. Сколько раз ему говорил, чтобы дал в мою ложу «пистолет», — солнце ведь только пистолетом и сделаешь, но Перетряхин отмахивался, говоря, что Паганини хватало и одной струны.

Отгремели аплодисменты, темный зал с тепло освещенными лицами, обращенными к сцене, внимательно затих, продолжая и в тишине источать доброжелательство и субботний настрой, — бархатный задник, стал меркнуть, наливаясь сверху синим светом, а в левом углу как бы красноватым заревом. Ай да Перетряхин! Пошла музыка, высказался задушевный баян, завибрировали, как вечерние кузнечики, домры и балалайки, и несколько румяных голосков в светлых, платочках, цветах сарафанах и сапожках завели:

За око-лицей
Солнце кло-ни-ица...

Тихо запела в кожухе моего фонаря лампа, я открыл диафрагму и увидел свое солнце. Задник был в складку — это мы просмотрели, и круг был далек от идеала, но я, как было велено, двинул

его слева направо, правда, не с самого угла, а чуть ниже, чтобы не выглядело так, будто оно с неба свалилось.

— Солнце! — тут же раздался удовлетворенный шепот за моей спиной, и я сразу почувствовал возросшую вдвое ответственность. Рядом затрепыхался звонок из регулятора, назойливый, как на международной линии. «Чего ему нейдет? — подумал я. — Не видит, что у меня руки заняты?» Солнце уже повисло в левом краю задника, и я не мог его бросить. Злобно взглянув на несмолкавший телефон и на очки Перетряхина, блеснувшие в щели, я решил продолжать путь своего светила. Но вдруг оно стало медленно меркнуть, словно заходя в некую туманность. Телефон не унимался, предательски привлекая внимание ближайших ко мне зрителей, я поднял трубку:

— Ну что?

— Что ты, понимаешь, там делаешь?! — закричал перетряхинский голос. Громкость его была особенно странной по сравнению с тишиной щели, в которой я видел повернутые ко мне очки.

— А что? — тихо окрысился я с сознанием полной своей правоты.

— Я тебе откуда сказал начинать? (В трубке было: «сказать начинал».) С угла? Вот и начинай оттуда. Понял?! — И трубка дала отбой с такой внезапностью, что я как бы даже слышал ее удар о рычажки.

Покраснев, я на глаз перевел бездыханный фонарь в исходное положение, Перетряхин чуть дал накала, и по еле заметному блику я нацелился, куда он хотел. «Позабыл меня, не заплачу я», — пели голоса под дрожание балалаек, и я снова начал опускать свое распроклятое солнце, о котором в песне не было больше ни слова.

На этот раз зрители за спиной неуверенно молчали, опасаясь попасть впросак, потому что то, что заново двигалось, могло оказаться и луной. Щеки и уши у меня горели не меньше, чем у моего закатывающегося светила, а телефон затрещал снова. Я посмотрел на солнце — оно не меркло, как в прошлый раз, так что я не мог его бросить на полдороге. Но телефон яростно хрипел, вдоль щели метались туда-сюда перетряхинские очки, и я, застонав, поставил на фиксатор задрожавшее было светило и поднял трубку.

— Немедленно иди сюда! — прозвучал в ней теперь уже ледяной голос. Машинально я бросил взгляд на . задник. Солнца не было. Горизонт чист.

«Жду желанного — не дождусь», — пели голоса.

Я поднялся со стула. Зрители молчали. Кажется, они все-таки поняли, что это было солнце.

В регулятор, как в бункер, вел длинный бетонный, заворачивающий коридор, обладавший страшноватым эхом. Человек, вступающий в него, оповещал о себе в противоположном конце клацаньем, раздающимся словно из преисподней. Мы набросились друг на друга, как черт на грешную душу, в ослеплении гнева так и не выяснив, кто же черт, а кто грешник. Когда облако наконец развеялось, оказалось, что я стою с тихим и покорным выражением на лице, а Перетряхин с тихой же настойчивостью говорит мне:

— Красота — как радуга. Она в воздухе вокруг нас. Нужно только найти такой угол зрения, создать такие условия, чтобы она засветилась. А ты куда свое солнце засандалил? Я же тебе настрою внушал, что сидишь ты не так, как зритель, и видишь все с другой точки. Что же ты, вместо того чтобы открывать всем красоту, губишь ее? Это у тебя не солнце было, а, прости за выражение, ночной горшок.

— Ну хорошо, — вяло сопротивляюсь я. Сравнения меня больше не трогают, и разговор наш уже о другом. — Ну хорошо, добыли мы с вами красоту. Вот она — в наших руках. А нам грустно. Разве не так?

— Так — если ты думаешь только о себе. А ты не иди к цели, как захватчик, тогда и не будешь обделен. Поделись, отдай, от себя откажись — и счастлив будешь. Вот так человек странно устроен.

— Все это я читал, — говорю я, — знаю.

— Где же ты знаешь? — сердится он. — Если бы знал, то не допустил бы такого безобразного уродства. Что толку, что ты, что он (это, наверное, Дятел) что-то где-то прочли. Все, что вы читаете, сделано до вас другими людьми. А вот чему сам выучишься, на что окажешься способен?..

На мой вкус суждениям Перетряхина не хватало лаконичности, мыслям остроты. Слушать его было неинтересно, и я не очень-то вежливо переминался с ноги на ногу.

— А что мы делать должны? — Он вдруг так просительно трогает меня за рукав, что мне становится совестно. — Мы должны воспитывать в людях любовь к красоте. Когда люди научатся любить ее, они невольно будут подражать всему красивому, и сами станут красивыми. А красивый человек не может поступить дурно, грязно...

— Это Платон, — обрываю его я, — четвертый век до нашей эры. Он говорил, что от красивых мыслей мы придем к красивым поступкам, от красивых поступков к абсолютной красоте. Так сколько же еще веков нам приходится?

Перетряхин придвинулся ко мне и, почему-то понизив голос, сказал:

— Может быть, это слово, которое говорил твой философ, может быть, оно только сейчас начинает доходить до нас, как сок из корней к цветку, чтобы цветок расцвел,...

Гастроли — спектакли, спектакли — гастроли.

Миленький ты мой,
Возьми меня с собой.
Там, в краю далеком,
Назовешь меня женой...

«Пять вечеров»... От этой песенки, спетой одиноким, чистым и таким будничным женским голосом, стягивает кожу на скулах, глазам становится горячо. В чем тут дело, господа, в чем тут дело?

На работе, Любовь Васильевна:

— Чего это все пишут пьесы и пишут, а актеры все играют да играют? Старых пьес, что ли, мало? Старые-то всяко лучше. Кому это интересно, чтоб на сцене юбки такие же, как на улице? Люди ведь то любят, чего уже нет.

— Люди должны посмотреть на себя со стороны, — возражаю я. — Тогда и понимать начнут кое-что.

— Чего же еще понимать? — волнуется Любовь Васильевна. — Чего же понимать еще-то? Все и так понятно. Зачем же слезы-то выжимать? Как будто их в жизни не хватает.

Любовь Васильевна — блокадница. Потеряла мужа в войну, под Гостилицами. Детей не было. Живет одна. Книг не читает. Но театр любит. Театр нужен людям для отдыха и развлечения. Драму признает только историческую, и если не надо плакать. Я говорю ей об очистительной силе страдания, которое есть только в трагедии. «Трагедия, — монотонно повторяет она и поджимает губы. — Не нужно человеку никакой трагедии, — это все люди не знают, как бы себя разворошить, да побольнее...»

С ней я не пытаюсь спорить. Я просто высказываюсь ровным голосом учителя, объясняющего трудное место, но она только обхватит себя руками, как от холода, или как бы показывая, что вот она, от сих и до сих, и ни на полслова не отступит. В другой раз я заявляю, что дети регулируют отношения в семье. Это отголосок наших с Генкой разговоров.

— Дети? Мы с Петей (это ее муж, она его часто вспоминает) не хотели детей. Он, может, и хотел, но скрывал, потому что я — ни в какую. Нет и нет. Зачем же детей рожать, если сами жить не научились? Мне одной — так очень хорошо. Я второй раз и замуж не пошла — очень детей боялась иметь. Я когда в блокаду была, у нас в квартире... — Несколько раз она пыталась рассказать какую-то историю, но осекалась, и ее бледное старое личико становилось испуганным. — А без детей, — говорит она еще не оправившимся от спазмы голосом, — спокойно. Сама себе хозяйка. Хочу, телевизор смотрю, хочу, к подруге схожу. И война не так страшна.

«Любочка», — называем мы ее. Кроме как о театре и личной жизни, своего мнения как будто не имеет. Принимает то, что на слуху. Перетряхина боится, но за глаза, особенно при Дятле, честит почем зря. Мы с Владимиром догадываемся, что за спиной и нам достается. Поэтому теплых отношений у нас не складывается — скорее, официальные. К тому же Любочка помешана на официальности — обожает пройти строго, по струночке, с поджатыми губами, с поднятым подбородком, как гувернантка. «Здравствуйте, Сережа!» — не поворачивая головы. Из всех рабочих мест предпочитает сидеть у прожектора. «От него тепло, как от „буржуйки"». Перетряхин ей полностью доверяет.

11

Вот уже неделя, как у нас на сцене выступает балет Кубы. «Коппелия», «Жизель», «Аполлон Мусaget», «Тщетная предосторожность» — я смотрю все, я свечу на сцену. В антракте я возвращаюсь в служебное фойе и хожу в головокружении — никогда не видел, чтобы в одно время и в одном месте собралось столько красивых девушек. С радистом Сеней мы сидим на черном диване, бесстрашно по-русски делимся впечатлениями. Та, о которой мы говорим, интернациональным женским чутьем догадывается об этом, вскидывает на нас свои темные глаза и, мило, именно мило, смущаясь, отворачивается, оставляя нам для лицезрения свой профиль и выгиб шеи, прорисованные со всей любовью, на которую только способна природа. Наверное, в нее даже влюбиться невозможно, а только любоваться издали, молча, восторженно. Ее красота вызывает не тревогу, не тоску по невозможному — она дарит радость, чистую радость бескорыстия. Как зовут ее — Сильвия Маричаль, Маргарита Урбино, Соня Кастаньеда? В программке десятка два таких вот, подобных названиям цветов, имен.

Гастроли начинались с «Коппелии». Я видел, как прославленная Алисия Алонсо, маленькая носатая женщина с большим, как у древнегреческой маски, ртом, молилась перед своим первым выходом, подняв лицо к меловому горизонту, холодно возносящему свой неосвещенный глухой свод...

Хосе Парес — смуглый, подвижный, с измученной, как у всех артистов балета, кожей лица, чем-то напоминает мне Пушкина. Он весел, экспансивен, всакивает, плюхается обратно, смеется, а глаза как бы отдельно, сами по себе, и улыбаться не очень-то спешат. По-английски он говорит бегло, но я почти все схватываю. Как я понимаю, двум иностранцам всегда легче объясняться на каком-нибудь третьем языке. Мне даже удастся выразить свою сравнительную характеристику американского и кубинского балетов, и он смотрит на меня с интересом, впрочем не очень-то скрывая и удивление.

— А ты знаешь, — спрашивает он меня, — то-то и то-то?

Как ни странно, я это знаю и в свою очередь интересуюсь, читал ли он то-то?

Он смеется в подтверждение и снова удивляется:

— Разве у вас это переведено?

— Конечно! — удивляюсь я его удивлению.

— Но тогда ты должен знать то-то и то-то, — говорит он.

Это тот редкий разговор, когда знаешь все и можешь ответить на любой вопрос, когда вдохновение озаряет весь свод знаний и интуиция спокойно черпает их в благодарном чувстве дарения. Вычертив круг интересов, мы обнаруживаем массу общего и, замолкнув, смотрим друг на друга с тем выражением, которое бывает у двух собеседников перед тем, как они жадно двинут навстречу свои кресла. Говорит в основном он. Я только радостно поддакиваю. Радость и есть свидетельство моего знания. Большого от меня и не требуется.

Хосе Паресу за тридцать. Танцует он уже мало. Больше играет. Его старики доктор Коппелиус и Симона, мать Лизетты, — персонажи чистой пантомимы. Он смеется над ними, заставляя хохотать зал. Пожалуй, они чересчур жизнеобильны для аморфных ситуаций балета, но таков, видно, темперамент исполнителя. Хосе Парес больше балетмейстер. В программе два его балета — «Кабальо де кораль» на музыку Мартинеса и «Концерт в белом и черном» на музыку Гайдна. Мы договариваемся провести вместе воскресенье, и в двенадцать дня я жду его в вестибюле гостиницы «Астория».

— Тебе никогда не приходило в голову, — стремительно сбегая по ступенькам, еще издали начинает он, улыбаясь так дружески, что мне тут же хочется крикнуть «приходило!», хотя я еще не знаю о чем речь, — тебе никогда не приходило в голову, что театр, в сущности, грубое искусство, rough art. — Его щеки и твердый подбородок еще стянуто поблескивают после бритья, черные волосы, зачесанные назад, открывают залысины лба, курчавятся возле ушей, от него похлостячки пахнет одеколоном. Он подхватывает меня под локоть, придавая для удобства общения собственную скорость, и мы проскакиваем вертушку дверей.

— И знаешь почему? Потому что театр самое зависимое из искусств. Без зрителя оно мертво. Сцена и зритель — это как горн и меха. — Он говорит «fire», огонь, а поскольку слово «меха» до меня не доходит, он, прижав каблук к заснеженному тротуару, старательно похлопывает носком. — Понимаешь?

— Да! — радостно догадываюсь я.

— Пока зритель дышит, огонь горит. Поэзия, музыка имеют право быть непонятными. Театр нет. Если его не понимают, он тотчас сгорает дотла. Время работает против него. Главный театральный закон — это закон балагана.

— Значит, театр вообще не искусство, — говорю я.

— Нет, — мотает он головой и смеется. — Театр это искусство, и притом великое.

— В каком смысле? — слегка замороченный вопрошаю я.

— А в таком, что оно создается на наших глазах, и притом в единственном экземпляре, который уже не повторить. Каждый спектакль — это инкунабула.

Мы несемся по Невскому, наперекор его воскресному потоку, дует ветер, летнее пальто Хосе Пареса растегнуто, узкий длинный шарф мотается по сторонам.

— И все-таки из всех сценических жанров больше всего я люблю балет, — кричит он на бегу. — Балет — это молодость человека, проблематика танца — это проблематика молодого чувства. В «Дон Кихоте» главный герой загнан на край сцены, потому что по либретто он старик. Он бродит со своим дурацким копьём, и никто не решится заставить его сделать хотя бы антраша. — Тут происходит заминка, потому что английское «Дон Квиксот» ничего мне не напоминает. — Квиксот, Квиксот, — с ходу останавливаясь, вдальбывает мне Хосе, глядя с такой отчаянной надеждой, словно мое невежество может вот-вот разрушить все, что уже нами (им!) понастроено.

— Ах, Кихот! — глупо радуюсь я, выражаясь порусски, и в глазах Хосе отлегает. Он снова смотрит на меня с благодарностью, как смотрят на своего идеального слушателя.

— У меня бы Дон Квиксот танцевал, — продолжает Хосе, — потому что он бесконечно молод духом. Ничто столько не говорит о молодости, сколько балет. Это его главная тема, взятая от литературы.

Молодость порождает мечту и надежду, она жаждет добра. Но, как ни парадоксально, эта жажда эгоистична. Молодость презирает будни, быт, кропотливое созидание — она готовит себя к празднику любви и дружбы. Она настолько уверена, что сама по себе ценность, что по закону равновесия требует не меньших ценностей от жизни. Нет, почему в «Дон Кихоте» такое ужасное либретто? — Последние слова он говорит как бы уже самому себе.

Пробивается солнце, но холод все раскручивает свои снежные спирали, и с горящими от морозного ветра щеками и ушами мы влетаем в кафе, фойе которого тихо мерцает темно-красной обивкой, сонными глазами швейцара и лысиной гардеробщика. Запахи сигарет, вина и кухни, работающей вполнагрузки, кажутся такими истинными, что походят на маленький праздник, втихомолку свершающийся вот здесь, посреди города и холодного зимнего дня.

Мы раздеваемся, потираем озябшие руки, причесываемся, гардеробщик, заражаясь нашим настроением, подхватывает наши пальто, тут же выворачивает в сторону Хосе воротник и говорит без недовольства, а как бы в назидание молодым:

— Петельку-то надо пришить. Куда жена смотрит? — А сам смотрит на оживляющегося швейцара.

Я перевожу как получается, скромно гордясь своим умением.

— У меня нет жены, — отвечает Хосе.

— Ну тогда уж самому надо, или не умеешь? — отчетливо громко, как маленькому, говорит гардеробщик, глядя на него с веселым грубоватым снисхождением.

— Я умею только танцевать, — подхватывает его интонацию Хосе, полагаясь на виртуозность моего перевода, но, кажется, я это делаю слишком буквально.

Гардеробщик, заготовивший было журащую фразу, которой собирался нас великодушно простить, теперь стоит раздосадованный и вот-вот бросит нам наши пальто. Хосе беспокойно оглядывается на меня, пытаюсь осознать, что я такое сказал.

— Он умеет только танцевать, — краснея, повторяю я гардеробщику, настаивая на точности своего перевода, — он артист балета, он танцует.

— Si, балет, — кивает головой Хосе, — si ³ Гардеробщик делает деревянный шаг в глубину и с кряхтеньем вешает наши пальто. Он щелкает номерком в стороне по барьеру, давая понять, что хоть и простил нас, но все же наше объяснение его не удовлетворило.

В кафе почти пусто, отчего оно еще уютней.

— Есть такая великая книга, — усаживаясь, говорит Хосе и приподымает свернутый конус салфетки, словно там его ждет сюрприз, — великая книга, которую я давно задумал поставить. Она написана в Европе, еще в восемнадцатом веке. Может быть, ты о ней слышал. Это «Страдания молодого Вертера» Гёте.

— Что? — чуть не подскакиваю я.

— Ты не слышал?

— Я читал! — и мысленно я благодарю Генку.

— Умница! — Хосе смотрит на меня с умилением.

³ — Да! (исп.)

— The story of the young egoist! ⁴ — поощренный, торжественно объявляю я.

— Эгоиста? — поднимает он брови. — Да, да, возможно, только в очень широком смысле. С житейской точки зрения все гении эгоисты.

— Разве он гений? — сильно сомневаюсь я.

— Naturally⁵, — как бы смакуя звучание слова, говорит он, откидывается в кресле и опускает на стол скрещенные суставчатые смуглые пальцы. — Это Дон Кихот, не сумевший дожить до седых волос.

— Бу! — говорю я, точнее, шумно выдыхаю воздух и отодвигаюсь вместе с креслом. Вместе со мной отодвигается стена, занавешенная синими шторами. Шторы уходят к линии горизонта, застывая там силуэтами гор. Мы сидим посреди одинокого пространства, пронизанного резким светом.

— Его чувство не имеет предела, — тихо вдогонку говорит Хосе. — Это под силу только гениальной душе. У меня все было, кроме музыки. Когда я последний раз был в Нью-Йорке, я хотел попросить Стравинского, но не осмелился. А потом я понял, что музыка должна принадлежать тому же поколению. Я даже не искал ее — я сразу ее узнал. Это Моцарт, Сороковая симфония g-moll. Помнишь? Тара-там, тара-там, тара-там-та? Тара-там, тара-там, тара-там-та! Ты узнаешь? Это Вертер, его душа, взлет и падение, вопрос и ответ. Здесь он весь. У него всегда доставало мужества ответить самому себе с полнотой, исчерпывающей суть вопроса. Лотта появляется рядом с ним во второй части, в анданте, он полон нежности к ней, но пока это еще можно принять за галантность.

— А Альберт, ее жених?

— Альберт и Лотта — это третья часть, менуэт. Его танцуют не слишком отрываясь от земли, сохраняя равновесие и чувство меры. Танец прочен и тяжеловат, он весь из правил, которые надежно защищают от стихии чувства, от потока, размывающего берега.

— Но кто они — бюргеры, обыватели?

— Можешь считать их прекрасными людьми, цветом общества, его опорой и символом. Вертер спотыкается о них, как о главный закон жизни, гласящий, что каждый должен возделывать свой сад. Но Вертеру до этого как будто нет дела. Не то чтобы он уж совсем не хотел копать в земле, просто небо ему виднее. Он зовет к небесам. Его последний дуэт с Лоттой в allegro четвертой части — это драма поддержек. Лотта стремится коснуться земли, она задыхается на высоте, а он не отпускает ее. Их танец — это борьба за два разных уровня пространства, верх и низ. — Хосе, сцепив руки, прокручивает их одну над другой и, разорвав, откидывает за спинку кресла.

— Помнишь? Тарам-там-там, та-та-рам? Тар-дам, тар-дам, тар-дам! Это все та же вертеровская тема, но, бог мой, что с ней стало! Она взлетает еще стремительней, но ответа больше нет—только гибельный гром аккордов...

Вертер убивает себя не потому, что разочарован в любви, в жизни, а потому, что не имеет сил разочароваться. Чтобы разлюбить, нужно научиться убивать постепенно, предавая по мелочам.

— Но, допустим, он добился Лотты. Разве был бы он счастлив?

— Нет. Но он этого не знает, и в этом его гениальность.

— Но как же? Это ведь страшно наивно!

— Ну и что?

⁴ — История молодого эгоиста (англ.).

⁵ Естественно (англ.).

Я молчу, все у меня в голове смешалось.

— Он бы никогда не добился Лотты, — говорит Хосе, словно успокаивая меня. — Помнишь, параллельно его любви разворачивается другая — любовь деревенского парня, которому он завидует, поскольку не обладает его мужеством и решимостью. К решительности часто приводит отсутствие воображения, неспособность к перевоплощению в своего ближнего. Совершить поступок, сознавая роли всех замешанных в драме, гораздо сложнее. Воображение, учитывающее всех, осознающее каждого, как самого себя, на какое-то время делает бессильным. Вертер замирает в мучительной позе надежды на толчок извне. Пожалуй, с житейской точки зрения, есть в этом что-то безнравственное, но, к счастью или несчастью, такой толчок не заставляет себя ждать. По сути дела он уповает на божественное провидение и вооружается именно им.

— Но зачем тогда вся его любовь, какая цель у него? — не выдерживаю я.

— Он любит без всякой цели, как поэт. Это как творчество. Разве стих, поэма создаются ради какого-то итога? Это просто самопроизвольное выражение духовности, форма ее существования. Вертер не однажды пытается стать как все. Его служба, которая дается ему легко, делает его отмеченным, но она не может продолжаться успешно, потому что не подкрепляется никаким его внутренним намерением. Вместе со всеми Вертер делает заученные движения, но сбивается на естественный жест. Он странник на земле, вечный странник.

Услышав Хосе, наша официантка нежданно-негаданно заговаривает по-английски, а он и бровью не ведет, будто ему естественно думать, что этот язык звучит на всех русских перекрестках. Она говорит совершенно свободно, не говорит — болтает. Откуда она знает английский? — *Oh, my Lord!*⁶, она всю жизнь проплавала. «Списали», — не без злорадства думаю я, ревниво ожидая, пока она отойдет, но ей вроде и не хочется уходить, и теперь наш разговор касается предметов настолько прозаичных, что я начинаю ерзать в кресле. Это не ускользает от Хосе, и он просит принести счет. «Ах, счет. Вот он», — спохватывается официантка, и голос у нее уже другой, и стоит она, замкнувшись. Внимательно глядя в счет, Хосе достает бумажник, вытряхивает из него мелочь и начинает вытаскивать по одной смятые бумажки рублей. Я смотрю на его торопящиеся руки, как они суетливо перебирают бумажки, складывая их на столе, и тут, повинувшись какому-то позорному предположению, мучительно вынимаю из кармана свою более крупную купюру и кладу на стол.

— *No, no!*⁷ — Хосе тут же отправляет ее в нагрудный карман моего пиджака и с такой отчаянной настойчивостью возвращается к смятым бумажкам, что я наконец соображаю — он просто не разбирается в них.

— *Let me help you!*⁸ — с улыбкой говорит официантка, ловко подхватывая несколько бумажек. Она называет сумму и, как фокусник, показывает их в поднятой руке. Хосе благодарно кивает ей и, резко наклонившись ко мне, словно только накоротке можно развеять случившееся, говорит, как вдалбливает:

— Вертер только однажды истинно слаб, когда он заявляет, что с ним Лотта была бы счастливей, чем с Альбертом. Бедняжка, он не знает жизни. Но дело не в этом. Дело в том, что человек не имеет права думать, что он более достоин, что он лучше кого-то другого. Это страшная мысль.

12

Несколько раз в году, не обязательно накануне больших праздников, я принимаюсь фантазировать: а на-пишу-ка я письмо (ведь бросил писать по молодости, которая, как известно, неоправданно щедра на разрывы), а напишу-ка я письмо тому, тому и тому, — и, начинаясь как оправдание, это продолжается уже как уверенность, что можно поправить и возратить. Может

⁶ Господи! (англ.)

⁷ — Нет, нет! (англ.)

⁸ — Я помогу вам! (англ.)

быть, так оно и есть? Некоторым даже писать не надо, — стоит только разыскать в старых записных книжках телефон или адрес и закатиться в гости: «не ждали?». Вот только к Перетряхину уже не приехать.

Жил он рядом с нашим Дворцом культуры, на узкой улочке, по которой раньше выруливал к своему кольцу мой номер троллейбуса. Сейчас у него другой маршрут, но и пешком от проспекта всего минуты две ходьбы. Я был у Перетряхина только однажды — что-то мы должны были захватить для спектакля. Дверь его квартиры выходила прямо на эту улочку, сам, наверное, ее и прорубил, а ту, что вела в коридор коммуналки, заставил старинным шкафом. Квартиры этой, а вернее комнаты, я не запомнил — запомнил другое: какое-то виноватое выражение лица, с которым он двигался по ней; такое я видел у него однажды в буфете. Он ходил по комнате, что-то отыскивая, и тихим голосом спрашивал у жены — маленькой и опрятной, как девочка, старушки, — ходил, стесняясь передо мной за эту домашнюю неделовитость, за свой тихий голос и за то, что без жены не обойтись, и попрощался с ней сухо, не так, как всегда, и, наверное, думал об этом, неся рядом со мной какие-то очень нужные нам приспособления...

Ставили мы «Тщетную предосторожность», свою, самостоятельную. Для студии балета это был не новый спектакль, но я обслуживал его впервые, и работы оказалось неожиданно много. Это было не совсем понятно — ну что там еще придумывать после кубинцев?— но Перетряхин таинственно усмехнулся и стал зачем-то опускать софиты.

Пока софит наверху, над сценой, он почти воздушен, потому что заявляет о себе только светом. Внизу он огромен и черен. Оснащенный мощными лампами, он похож на подводную лодку, на какой-нибудь батискаф. Он висит в темной бездне, высвечивая под собой желтое дно с загадочными существами... Вид сверху и снизу — они настолько различны, что вместо одного обозначают как бы два различных существования.

Итак, дошла очередь и до софита. Как маляры, натянув на головы носовые платки с четырьмя рогульками, мы принялись очищать его от пыли. Оказывается, и вертикальная тьма колосников была забита ею. Эта пыль — как физический осадок, как побочный продукт тех усилий, с которыми осуществляет себя на сцене искусство. Оно дымит, как самолет на старте.

Мы чихали и чертыхались, а Перетряхин, сделав одно из своих самых строгих лиц, опускал на нас вторую громадину. То, что впереди были гастроли англичан и чехов, нам мало что объясняло: как говорится, не первые и не последние — отчего же именно сейчас переворачивать все вверх дном?

— Совсем спятил старик, — ворчал Дятел под аккомпанемент Любочки, и я не находил в их словах особой несправедливости.

Но Перетряхин этого не слышал. Он бегал вдоль софитов, как железнодорожник вдоль вагонов, открывая повизгивающие крышки фонарей и вставляя новые светофильтры. Но это было только начало. Ему зачем-то понадобилось затащить еще четыре тубуса на световые мостки, вдоль горизонта выстроились подсветки и два проектора «молния», а за кулисами он нагородил столько, что на сцену было не продрасться. Дятел не перечил, он вдруг самоустранился, оставив нам лишь свою рыхлую послушную оболочку. Но Перетряхин этого не замечал. Как перед кругосветным плаванием, он перещупал все хозяйство от клотика до трюма, но все чем-то был недоволен, неожиданно останавливался, что-то вспоминая, что-то прикидывал и переправлял. Наконец он прыгнул в свой регулятор — он имел привычку прыгать сверху, как в траншею, — и задвигал рукоятками на валах. Вычищенные софиты молча плеснули багровым и фиолетовым огнем — это было как взрыв, и, выглянув, Перетряхин по-детски посмотрел на нас, словно удивляясь, что мы остались живы. Дятел покачал головой и, как штангист после подхода, расслабив руки и плечи, медленно удалился за кулисы.

На спектакль Перетряхин оставил нас с Любочкой. Зрителей было немного — бельэтаж и ярусы даже не открывали, так что я сидел один, без свидетелей, но партер был почти полон. Заиграла уже знакомая музыка, похожая на буколические картины Франсуа Буше, поднялся занавес, и началась история о том, как молодую Лизетту любил бедный молодой человек по имени Колен. Бедность, однако, не помешала ему завладеть ее сердцем, и все шло к тому, чтобы их

любовь нашла счастливое подтверждение в браке, неравном разве что лишь с точки зрения честолюбивой Симоны.

Декорации у нашей самодеятельности были на зависть, а костюмы побогаче, чем у кубинцев, и за этим как-то не сразу замечалось, что танцуют непрофессионалы. Это стало явным только в паде-де, но солистам почему-то непременно хотелось его исполнить, как если бы заявка на непокоренную высоту была одновременно подтверждением, что таковая уже покорялась. А поскольку зритель аплодировал много и часто, то как бы так оно и было. Мне не хватало только одного — Симоны. Она, конечно, была и чего-то там разводила руками, но тут я вдруг впервые осознал, что такое талант. Творя, он всегда вызывает ощущение, что это происходит с нами самими, что мы это видели, а теперь узнали, что это было, а теперь мы вспомнили. В чем тут дело? Может быть, в том, что на уроках алгебры называлось извлечением корня? И он общий для всех — корень жизни?

Между тем в оркестре начались хроматические пассажи — как бы порывы ветра, и горизонт начал на глазах набухать грозой. Клубясь и лиловая, она приближалась со скоростью урагана, и крыши домов и стога на заднем плане вдруг стали мертвенно бледными. В воздухе явственно пахло разверзшимися вдали хлябями небес, люди забегали, ища крова, а наши с Любочкой прожектора, как два последних солнечных луча, прорвавшиеся сквозь грозовой мрак, впились в дымящуюся землю. Но вот накатило, заполонив все роскошно фиолетовым светом, и горизонт прорезала сабельная вспышка молнии. Краем глаза я увидел, как перетряхинские руки вывели вверх штук двадцать рычажков кряду и дернули двадцать других. Снова полоснуло магниевой ветвью, и в трижды полыхнувшем небе трижды означались крошечные облака, в два слоя бегущие на зрителей. Что-то я не помню, чтобы мы ставили аппараты «облака», видно, Перетряхин притащил их в последний момент, втайне от всех. Гроза неслась со сцены прямо на зрительный зал, и, хоть я сидел в стороне и выше всех, мне стало не по себе. Так вот кто был Перетряхин — он был богом-громовержцем, а регулятор — его Олимпом!

Думаю, что такой грозы не знал даже Большой театр. Но вместо восторга я почему-то испытывал подавленность, а потом стало и вовсе грустно. Наверное, такая гроза все-таки была не нужна балету. Это был спектакль в спектакле. Ода грозе. Для нее требовался другой полигон.

После спектакля Перетряхин выглядел плохо. Он как-то сразу постарел. Когда я ставил дежурку, он вылез из щели и, вытирая лоб носовым платком, потерянно посмотрел на меня:

— Что, очень я перетемнил?

13

Ну вот, осталось написать совсем немного. И прежде всего о ЧП, которое случилось, увы, по нашему осветительному цеху, хотя Перетряхин в объяснительной записке категорически отрицал нашу вину. Виноват был КРУГ. Почему я только сейчас рассказываю о нем? Ведь он в свое время поразил меня не меньше горизонта. Может, потому, что за всю свою работу на сцене я ни разу не спускался в трюм, где располагался поворотный механизм, а только слышал иногда из подземелья глухой голос Никифора Степановича, предназначавшийся Саше Костовому. Почти прикладываясь ухом к планшету сцены, Саша кричал: «Пошел!» — и вдруг вся сцена трогалась с места и начинала поворачиваться, как поле за окном мчащейся электрички. Если Перетряхин создал свет, то Никифор Степанович — землю: она у него вращалась, лежа отнюдь не на трех китах...

Кто-нибудь, изображая крайнюю занятость своим делом, как бы случайно становился на круг, проплывал к просцениуму, уезжал мимо кулис к горизонту и только там неуклюже переступал на незыблемый берег, а кто-то другой, чтобы сократить расстояние, пробегал по нему из кулисы в кулису, при этом забавно, как пьяный, перебирая ногами, — круг притягивал всех.

Как на нем оказался наш фонарь, так и не удалось выяснить. Перетряхин намекал на провокацию, но скорее всего его машинально передвинул кто-нибудь из рабочих сцены, когда ставили декорации. А раз фонарь появился в проходе раньше положенного, значит, отвечал за ЧП Перетряхин. Но тут-то и начиналась казуистика, потому что если строго, если формально, то наш

шеф был ни при чем. Мы у него все делали вовремя, по четкому графику, команда же Никифора Степановича — все дядьки, один веселей другого, — была иной. Перетряхин называл их анархистами.

— Я о людях думаю, чтобы люди отдохнули! — гремел Никифор Степанович, выставив на Перетряхина живот как главный свой аргумент, когда они, явившись поздней нашего, протягивали через провода и муфты, подсветки и пистолеты свою пыльную мешковину, распятую на деревянных рамах, все эти «стенки», «вставки» и «толщинки».

— Так чем же ты думаешь?! — фальцетом голосил Перетряхин, удерживая вздрагивающую аппаратуру. — Когда ты нам, понимаешь ли, весь свет расстроил!

— А ты бы еще на рассвете свои мигалки понатыкал! — еще убежденней рокотал Никифор Степанович, одновременно ухитряясь бросать в нашу сторону сочувственные взгляды.

— Каком рассвете? О чем ты говоришь? — машинально продолжал наскакивать Перетряхин, уже подсчитав потери и мысленно отдавая нам распоряжения. Ставить свет до декораций было, конечно, бессмысленно, но Перетряхин все равно требовал, чтобы стояло и светило, пусть хоть в никуда. Ни один не уступал другому, словно это был поединок двух принципов бытия, двух философий, столкнувшихся в споре «что было раньше — свет или земля?»

Декорации — четыре плана: две квартиры, улица, работа — стояли по кругу, как четыре стороны света, и фонарь, незамеченно наступивший одной из своих железных ног на этот круг жизни, упирался лучом в бутафорский лакированный шкаф с темными картонками ничего не весящих книг. Лакировка извилисто отсвечивала на ближайшую кулису, шевелящуюся от сквозняка. Получалось, как язык пламени при дневном свете. В регуляторной мирно порывкивал насос, слышалось покашливание Перетряхина — после «Тщетной предосторожности», еще не остыв, он ушел домой без шапки, — на сцене был только Дятел, а я наверху возле своего прожектора прилаживал на барьере маленький проектор с диапозитивами: год такой-то, такой-то и такой-то, всего восемь дат. На сцену я не смотрел, слышал только, что появился Саша Постовой, а внизу из своих недр отозвался Никифор Степанович. Я снова поднял глаза, когда почти неуловимо, как отголосок землетрясения, тронулся круг. Сначала я не понял, откуда взялся этот желтый луч. Скользя по шкафу, он полоснул наискось по противоположной кулисе и вырвался в темноту зала. «Дятел светит», — мелькнула мысль, и в этот момент раздался металлический грохот. Наш фонарь, задрал одну из своих трех ног, лежал на боку на круге, словно подвернув шею, и его желтый глаз медленно обводил зал. Пробежав по рядам бельэтажа, он на мгновение заглянул мне в лицо, словно прося о помощи, и уперся в кулису перед собой. Зацепившись за ногу фонаря, кулиса стала оттягиваться назад, разодралась внизу с треском, и две ее половинки освобожденно поплыли на свое место.

— Стой, стой! — раздалось несколько голосов, и последнее, на что я смотрел, перед тем как погас свет, это на электрический кабель, вытягивающийся из люка вслед за фонарем. Его там было несколько колец, но запас кончился, кабель натянулся, развернув к себе фонарь, и тогда, видно, сползла резиновая оболочка. Вспышка была сильнее, чем я ожидал, даже искры полетели, и стало темно. В следующий момент в стороне регулятора щелкнуло, и на сцене и в зале вспыхнул бледный аварийный свет. Из щели неподвижно торчала голова Перетряхина, а на сцене стояло несколько человек с перепуганными лицами.

— Пожар! — крикнул кто-то.

«Как же», — усмехнулся я чужому невежеству, но тут увидел, как по разодранной кулисе понеслись вверх наперегонки огненные дорожки. В два прыжка рядом с ней оказался Саша Костовой и рванул кулису на себя. Наверно, он был уверен, что оборвет ее, но она только перекосилась, как парус, и, снова рванув, он повис на ней. На сцене закричали, и мне показалось, что на Саше вспыхнул черный халат.

— Огнетушитель! — услышал я голос Перетряхина, и по сцене протопал Дятел, держа перед собой красный цилиндр и пытаясь на ходу прочесть инструкцию, нарисованную на нем. Кто-то бросился помочь, но

Дятел оттолкнул руку и, перевернув цилиндр, хрястнул его об пол. Жирная серая струя рванула до самого задника. Подхватив огнетушитель, Володька на тех же смешно приседающих ногах подбежал к Саше и плеснул по его спине. Когда появился Никифор Степанович, белый, как меловой горизонт, все было кончено. Кулиса грязной мокрой грудой валялась на полу, а Саша, скинув такой же мокрый грязный халат, показывал огромные дыры на груди и локтях. Он шутил, но руки его дрожали. И тогда все, как по команде, повернулись к Перетряхину.

— Ну, Сан Саныч, — раздался голос Никифора Степановича, — на этот раз тебе номер не пройдет.

— Да погодите, надо разобраться, — хватая за рукава первых попавшихся, засуетился Перетряхин, но с ним избегали встречаться взглядом.

В тот же день на доске приказов появилась благодарность Владимиру Дятлу за умелые действия по ликвидации пожара. О Перетряхине не было ничего. Вечером после спектакля ко мне подошел Дятел и протянул бумагу:

— На, почитай. Если согласен, подпиши. Нужно три подписи — твоя, Голубковой и...—он сделал паузу, — моя.

Я сделал понимающее лицо и стал читать. Я думал, что это объяснительная, подтверждающая нашу непричастность к ЧП. Но это было заявление. Оно было написано на очень белой мелованной бумаге, и слова, составленные из жирных, почти не касающихся друг друга букв, неуверенно ползли поперек этого поля, как черные гусеницы. Там было написано все, что и в самом деле было, и могло вполне сойти за правду. Унижал? Меня нет, но Дятла — пожалуй. В регулятор не допускал, чем не готовил молодую смену. Выражался нецензурной бранью — ну, было раз-два, хотя монтировщики во главе с Никифором Степановичем могли бы дать фору в сто очков, нарушал правила техбезопасности, что привело к пожару, завалил спектакль уважаемого в городе народного коллектива — это про грозу, что ли? Зажимал трудовую инициативу... Было там еще про моральный облик и отсталые взгляды, что вредно сказывается на воспитании молодого поколения — в этом месте я покраснел, — и следовал вывод, что мы, нижеподписавшиеся, не можем из-за такого начальника обеспечить качественную работу на одной из самых крупных и заслуженных площадок нашего города. Я прочел в аккуратных скобках наши фамилии с инициалами, они стояли слишком явно, и, не смея поднять глаза, сделал вид, что еще читаю. Но от Дятла это не ускользнуло:

— Вот, значит, ты подпишешь, Любочка, а утром я отнесу в дирекцию. Я говорил там — дирекция нас поддержит.

Я молчал, уткнувшись в лист.

— Что? Чего-нибудь не так? Скажешь, не было чего-нибудь? — запальчиво спросил Дятел, все норовя заглянуть в глаза.

— Ну а это? — тупо сказал я, проводя пальцем возле «морального облика».

— Что, что? — наклонившись, ловко вывернул шею Дятел. — Как? Разве он тебе не рассказывал про девочек? Ты смотри, ты носи ответственность за то, что говоришь.

Я заматал головой.

— Скажешь, с ним легко работать? — продолжал Дятел. — Он же нам всю душу вымотал. Он старый больной человек, ему в санаторий нужно, в профилакторий, он же три года в отпуске не был, думаешь, почему? Да потому, что он боится, что я без него регулятор изучу, и его на пенсию отправят. Пусть еще спасибо скажет, что думают о нем.

— Ничего себе, думают, — стыдливо хмыкнул я.

— Да никто ж его не выгоняет, дирекция подыщет ему здесь же, во Дворце, более легкую работу, без нервных затрат...

И вдруг я стал чувствовать, что Володька прав. Он безусловно прав, и какое-то неведомое мне раньше ощущение, что я вершу во благо кому-то его же судьбу, наводило меня. В этом ощущении было много оттенков — они честолюбиво поплескивали, отсвечивая заботой и добротой.

— Хороню! — кивнул я. — Только вот это не надо. Это и это, — указал я насчет воспитания молодых.

— Ну, Сережа... так ты не проживешь, — с разочарованием посмотрел на меня Дятел. — Ну, хорошо, — вздохнул он, — будь по-твоему. Только придется переписывать.

Наутро мы с Дятлом подошли к Любочке. Читать она не захотела — засуетилась и боком стала отходить, вспомнив про подружку в гардеробе, но Дятел одним шагом преградил ей путь к отступлению:

— Как это понимать, Любовь Васильевна? Вы же сами вчера мне говорили — «напиши на него, ирода такого, чтоб над людьми не издевался». Разве это не ваши слова? А теперь в кусты? Я же не донос пишу — читайте, пожалуйста. Я же для вас стараюсь.

— А я что, я — как все, — пролепетала Любочка классическую фразу и торжественно вытянула вперед свою бледную сухую ручку. — Где писать?

Откровенно говоря, мы с Любочкой не думали, что Перетряхина снимут. Скорее, припугнут.

14

— А что, и правильно, — глядя вслед Дятлу, сказала себе в утешение Любочка, — не при капитализме живем.

...Собрание получилось коротким, хотя народу набилось битком. Никогда не думал, что сцену и зал обслуживает такое количество людей. Мне досталось место возле дверей, в темноватом коридорчике, так что я больше слышал, чем видел. Когда Никифор Степанович, он был председателем месткома, начал читать наше заявление, я стал смотреть в большое окно на другом конце комнаты. Наши слова в исполнении главного машиниста сцены приобретали не ощутимую прежде весомость, и я, в обреченном ожидании своей фамилии, все больше и больше углублялся взглядом в казенный кирпичный двор, очерченный по козырьку крыши и оконным карнизам вялыми полосами потемневшего снега.

Потом кто-то пробовал выступать, припоминая что-то Перетряхину:

— Я тебе еще когда, Саныч, говорил! — но, словно почувствовав, что бьет лежачего, споткнулся на полслове и сел.

Перетряхин сидел далеко, почти спиной ко мне, я видел только два боковых вихра его головы и правое стеклышко очков, сухо поблескивающее при дневном свете. Ему предложили выступить с объяснениями. Мы знали, что он собирался говорить, но теперь, окруженный молчанием, он только привстал, глухо прокашлялся в кулак — такой жест за ним не водился — и сел на место.

Собрание постановило просить дирекцию о переводе Перетряхина на другую работу. Директор был тут же. Когда все направились к выходу, я замешкался со своим стулом в дверях, и директор, маленький чернявый человек, шедший перед Дятлом, посмотрел на меня с каким-то внимательным удивлением.

После собрания Перетряхин сразу ушел домой и явился вопреки правилам лишь за полчаса до начала концерта. С нами он не разговаривал. А через несколько дней вместо него пришел уже знакомый нам Хрипунов. Говорили, что он будет на двух площадках, пока Дятел не обучится. Дятел поначалу ходил праздничный, давал нам с Любочкой поручения оживленным тоном, как будто теперь они стали нам в радость, а затем как-то поблек и вскоре заявил, что я должен немедленно приступить к изучению регулятора, потому что у него и без того много забот.

Любочка, прежде вполне нами терпимая, стала злой и колючей, и мягко-настойчивый взгляд Дятла на нее не действовал. Дел у нас с ней заметно прибавилось.

— Эх, вы, съели старика, — услышал я от нее однажды. И, помолчав, она добавила: — Волчата...

— А вы-то что поддакивали? — взвился я, ужаленный в сердце.

— Что я! — глядя в сторону, сказала она.—Я уже старуха, по краешку хожу, по общей стеночке. А он — он по середине не боялся.

— Кто? — не разобрался я.

— Он, — коротко взглянула она на меня, — а не этот твой... Мирдятел.

— Так почему же никто, ни один человек не заступился за него на собрании? — высказал я свой последний жалкий аргумент, к которому все эти недели прибегал для успокоения души.

— Потому что жалости он не терпел. А люди жалость больше силы любят.

Ночью мне приснилась наша Любочка в роли леди Макбет. Она медленно шла по сцене в томительном, какой бывает только во сне, свете и, оттирая руки, говорила: «Вымой руки, надень халат и не будь так бледен», — и во сне я удивлялся, откуда это Любочка знает по-английски.

Вслед за театром Олд Вик гастролировали чехи, и после поистине чуда их «Латерны магии», означающей в переводе «Волшебный фонарь», как-то неловко было садиться за свой старый помятый прожектор, но это уже другая история, как и все, что было дальше и что я по-прежнему принимал за юношеский праздник свободы.

Генка, услышав от меня про Перетряхина, советовал уйти из Дворца. Он считал, что я виноват и мой уход будет формой искупления. Но я работал там до самого призыва в армию, не в силах оторвать взгляда от магического света, льющегося в короб сцены сверху, снизу, со всех сторон.

Через три месяца после ЧП Перетряхину предложили вернуться. Но он наотрез отказался. Он работал бригадиром у водопроводчиков, и иногда я с ним сталкивался во Дворце. Теперь он ходил с огромными разводными ключами, одетый в брезентовый комбинезон, во главе таких же брезентовых кряжистых мужиков. Однажды я видел, как он играл для них на пианино. Не садясь, он присогнулся над мягкими клавишами и чутко следил за простенькой мелодией, которая выходила у него из-под пальцев. Вокруг, смущаясь то ли за него, то ли за свои ржаво-корявые доспехи, стояло человек пять.

Со мной он здоровался, но после нашего последнего разговора не останавливал. Разговор же был предельно коротким. «Сережа, — сказал мне тогда Перетряхин, — ты будешь всю жизнь об этом жалеть»

Май — октябрь, 1975